И.В. КОСТИКОВ

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРИОТИЗМ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА, КОГНИТИВНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ЭЛИТА СЛУЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРИФЕРИЙНОГО КАПИТАЛИЗМА

Москва
2026 г.

УДК 330.1: 316.7: 338.2
ББК 60.56я73: 65.050я73
К 72

Рецензенты

В.В. Семенова, доцент, кандидат экономических наук,
ФГАУ ВО Московский политехнический университет, Москва;
В.Ф. Гапоненко, профессор, доктор экономических наук,
доктор технических наук, АНО ВО Национальный институт
финансовых рынков и управления, Москва.

Костиков И.В.

К 72 Гражданский патриотизм в цифровую эпоху: экономическая база, когнитивный суверенитет и элита служения в условиях периферийного капитализма. – М.: Издательство Института деловой карьеры, 2026 – 184 с.

ISBN: 978-5-906322-16-6

В монографии исследуется феномен гражданского патриотизма в условиях цифровой трансформации и периферийного капитализма. Автор выходит за рамки идеологических трактовок, рассматривая патриотизм как институциональный проект, требующий прочной экономической и когнитивной базы. На основе синтеза философской традиции, институциональной экономики и политической экономии разработана оригинальная институционально-рентная модель, объясняющая, каким образом структура рент (от ресурсной до ИИ-ренты) определяет качество институтов и поведение элит.

Книга адресована экономистам, политологам, социологам, государственным служащим, исследователям в области институциональной экономики и всем, кто интересуется вопросами национального развития и экономической политики.

УДК 330.1: 316.7: 338.2
ББК 60.56я73: 65.050я73
© Костиков И.В., 2026
© ИДК, 2026

ISBN: 978-5-906322-16-6

****

Игорь Владимирович Костиков

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРИОТИЗМ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА, КОГНИТИВНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ЭЛИТА СЛУЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРИФЕРИЙНОГО КАПИТАЛИЗМА

Книга издается в авторской редакции
Спуск полос и верстка – В.В. Зайцман / Дизайн обложки – А.А. Самохвалова

Издательство Института деловой карьеры
109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 5
Тел.: +7-916-909-73-56; E-mail: nauka@ideka.ru
Подписано в печать 01.11.2026. Усл. печ. л. 11,5. Формат 60x84/16.
Тираж 500. Заказ № 01112026-1

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ФИЛОСОФСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

Глава 1. Генезис гражданского патриотизма: от античности до цифровой эпохи **7**

1.1. Античный полис и республиканская добродетель: рождение концепта 7

1.2. Просвещение и немецкая классика: право против этноса 8

1.3. Русская философская традиция: служение, соборность и «нравственная оседлость» 10

1.4. Современные дискуссии: конституционный, конструктивный, рефлексивный патриотизм 12

1.5. Пять принципов гражданского патриотизма: нормативный каркас 14

1.6. Экзистенциальное измерение: опыт покинутости, унижения, чуждости, разрыва времен и осады 16

Глава 2. Экономический патриотизм: история понятия и современные дискуссии **20**

2.1. От меркантилизма к Фридриху Листу: рождение экономического патриотизма 20

2.2. Экономический национализм vs. экономический патриотизм в XX–XXI веках 23

2.3. Современные исследования: эмпирика и кейсы 26

2.4. Российская дискуссия: между безопасностью, институтами и рентой 28

2.5. Недостающее звено: от инструментов к институтам **32**

ЧАСТЬ II. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-РЕНТНАЯ МОДЕЛЬ

Глава 3. «Толстые» институты и методологический холизм **35**

3.1. Формальные нормы, неформальные практики, когнитивные рамки 35

3.2. Почему «тонких» институтов недостаточно: уроки трансплантации 38

3.3. Институциональные ловушки периферийного капитализма 41

3.4. Методологический холизм против методологического индивидуализма 43

3.5. Выводы для построения модели 46

Глава 4. Рента как структурная категория периферийного капитализма **49**
4.1. От классической ренты к обобщенной категории 49
4.2. Типология рент в периферийном капитализме 52
4.3. Рента доверия и рента легитимности: позитивные концепты 55
4.4. Связь рентной структуры с гражданским патриотизмом 58
Глава 5. Элиты, захват и элита служения **61**
5.1. Классические теории элит и их ограничения 61
5.2. Материальный и когнитивный захват институтов 64
5.3. Элита служения: институциональный дизайн и механизмы подотчётности 67
5.4. Трехуровневая модель реализации гражданского патриотизма 70
5.5. Выводы для построения модели 76

ЧАСТЬ III. КОГНИТИВНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И АНГЛОСАКСОНСКИЙ ГЛОБАЛИЗМ

Глава 6. Множественные идентичности в цифровую эпоху **79**
6.1. Политическая, эпистемическая и цифровая «родины» 79
6.2. Конфликт лояльностей и его экономические последствия 82
6.3. Когнитивный захват: механизмы и каналы 85
6.4. Когнитивный суверенитет как ответ на вызовы 88
6.5. Выводы 91
Глава 7. Англосаксонский глобализм как форма национализма **93**
7.1. Имперский национализм и универсалистская риторика: исторические корни 94
7.2. Институциональная архитектура когнитивного доминирования 96
7.3. Кейс: Болонский процесс и его последствия для периферийных академических систем 101
7.4. Выводы 103

Глава 8. AGI, платформенная власть и будущее когнитивного суверенитета **105**
8.1. Искусственный интеллект общего типа: угрозы и возможности 106
8.2. Платформенный капитализм и алгоритмическое управление 108
8.3. Национальные стратегии цифрового суверенитета: сравнительный анализ 111
8.4. ИИ-рента и новое неравенство: кто будет владеть «фабриками смыслов»? 113
8.5. Выводы 118

ЧАСТЬ IV. ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Глава 9. Экономический патриотизм в действии: сравнительный анализ кейсов **122**
9.1. Франция: «экономический патриотизм» в открытой экономике ЕС 122
9.2. Южная Корея: государство развития и воспитательный протекционизм 124
9.3. Бразилия: ресурсный национализм и ловушки ренты 127
9.4. Россия: импортозамещение, госзакупки и «патриотическое потребление» (2014–2025) 130
9.5. Сравнительный анализ: что отличает успешные кейсы от провальных? 132
Глава 10. Налоговая мораль, доверие и гражданский патриотизм: эконометрический анализ **136**
10.1. Обзор литературы и формулировка гипотез 136
10.2. Данные и методология 139
10.3. Результаты 142
10.4. Обсуждение результатов и выводы 147
Глава 11. Когнитивный захват: измерение и индикаторы **149**
11.1. Операционализация понятия: индекс когнитивной зависимости 149
11.2. Анализ карьерных траекторий элит: образование за рубежом и карьерные пути 152
11.3. Контент-анализ экспертного дискурса: чьи концепты доминируют? 154
11.4. Кейс: российские экономические реформы 1990-х — когнитивный захват или рациональный выбор? 157

11.5. Выводы и направления дальнейших исследований 159

ЧАСТЬ V. ПРАКТИЧЕСКИЕ ИМПЛИКАЦИИ И НОРМАТИВНАЯ МОДЕЛЬ

Глава 12. Экономическая политика для гражданского патриотизма 161

12.1. Фискальная реформа: прогрессивное налогообложение и прозрачность бюджета 161

12.2. Политика в отношении элит: ограничение «вращающихся дверей» и публичная подотчетность 163

12.3. Образование и наука: стратегия когнитивного суверенитета 165

12.4. Цифровая политика: национальные платформы и регулирование ИИ 167

Глава 13. Нормативная модель: от рентной элиты к элите служения 169

13.1. Шесть уровней экономической базы гражданского патриотизма 169

13.2. Минимальный нормативный стандарт: что должно быть сделано в первую очередь? 171

13.3. Сценарии и риски: что может пойти не так? 174

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 177

БИБЛИОГРАФИЯ 179

ЧАСТЬ I. ФИЛОСОФСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

Глава 1. Генезис гражданского патриотизма: от античности до цифровой эпохи

1.1. Античный полис и республиканская добродетель: рождение концепта

Современное понимание патриотизма как эмоциональной привязанности к стране во многом является результатом позднейших исторических наслоений. В античной традиции патриотизм имел принципиально иной смысл. Он не сводился к чувству и не мыслился как абстрактная лояльность территории или власти. Речь шла о включенности человека в жизнь политического сообщества и о его участии в общих делах.

Уже у Геродота и особенно у Фукидида прослеживается тесная связь между любовью к отечеству (πατρίς), свободой (ἐλευθερία) и гражданским участием. В «Надгробной речи» Перикла, переданной Фукидидом («История», II, 35–46), Афины описываются не столько как сильное государство, сколько как особый политический порядок. Его достоинство заключается в том, что граждане свободны, равны перед законом и активно участвуют в управлении. В этом контексте патриотизм означает не безусловную верность, а осознанную приверженность такому порядку, который обеспечивает свободу и достоинство.

Аристотель в «Политике» (III, 1274b–1276b) придает этой интуиции строгое теоретическое выражение. Он определяет гражданина не через происхождение или место жительства, а через участие в судебной и совещательной власти. Это определение радикально смещает акцент: принадлежность к полису есть не факт, а деятельность. Человек становится гражданином, поскольку участвует в управлении, а не просто проживает на определенной территории. Отсюда вытекает и понимание патриотизма: он оказывается не частной добродетелью, а необходимым условием полноценной человеческой жизни. Поскольку человек есть «животное политическое» (ζῷον πολιτικόν), его благо неотделимо от блага полиса.

Римская традиция усиливает институциональный аспект этого понимания. У Цицерона amor patriae приобретает форму служения res publica — общему делу, воплощенному в законах и институтах. Любовь к отечеству здесь уже не просто участие, а обязанность, которая превосходит частные привязанности. Исторические нарративы Тита Ливия закрепляют этот идеал через конкретные образы, где личное жертвуется ради сохранения

республики. Тем самым патриотизм получает нормативное измерение, связанное с идеей долга.

Однако уже в античности обнаруживается внутреннее напряжение, которое станет центральным для всей последующей истории политической мысли. Патриотизм одновременно претендует на универсальность и остается глубоко партикулярным. С одной стороны, он апеллирует к общезначимым добродетелям — справедливости, мужеству, готовности к самопожертвованию. С другой стороны, он всегда привязан к конкретному сообществу: любят не «полис вообще», а именно Афины или Рим.

Стоическая философия предлагает первую систематическую попытку разрешить это противоречие. Сенека, Эпиктет и Марк Аврелий выдвигают идею космополитизма, согласно которой человек принадлежит прежде всего мировому сообществу (κοσμοπολίτης). В этом подходе локальная привязанность не отрицается, но включается в более широкий горизонт человеческой солидарности. Истинное отечество — это мир, управляемый разумом (λόγος) [Nussbaum, 1996].

С этого момента проблема соотношения универсального и частного становится устойчивой темой философских размышлений о патриотизме. Для нашего анализа важно зафиксировать исходную точку: в античной традиции патриотизм мыслится прежде всего как гражданская добродетель, укорененная в институтах свободы и участия. Он не связан с этнической принадлежностью и не сводится к территориальной идентификации. Его содержание определяется характером политического порядка.

В современном контексте это имеет принципиальное значение. Если перенести античную интуицию на язык современной политэкономии, становится очевидно, что патриотизм невозможен без институтов, обеспечивающих реальное участие граждан в управлении общим делом. В том числе это касается экономических механизмов — налогообложения, распределения ресурсов, прозрачности бюджетной политики. Там, где участие носит формальный характер, патриотизм неизбежно превращается в риторику.

1.2. Просвещение и немецкая классика: право против этноса

В эпоху Просвещения проблема патриотизма получает новое измерение. Она выходит за рамки этики и становится частью теории государства и общественного договора. Патриотизм начинает рассматриваться не только как добродетель, но и как условие устойчивости политического порядка.

Монтескье в «О духе законов» (1748) связывает характер патриотизма с формой правления. В республике его основой является добродетель, понимаемая как любовь к отечеству и законам. В монархии эту роль играет

честь, в деспотии — страх. Тем самым утверждается важный тезис: патриотизм не универсален, он возможен лишь в определенных институциональных условиях. Там, где отсутствует свобода и участие, он вырождается в подчинение.

Руссо радикализирует этот подход, вводя идею патриотизма как результата воспитания. В «Общественном договоре» (1762) и «Рассуждении о политической экономии» (1755) он утверждает, что любовь к отечеству не возникает сама по себе, а формируется через социальные институты. Государство должно сознательно создавать условия, при которых граждане будут идентифицировать себя с общим целым. При этом Руссо подчеркивает, что патриотизм невозможен в условиях глубокого социального неравенства. Если общество расколото, если интересы его членов радикально расходятся, то и общая идентичность не может сложиться.

Кант вносит в дискуссию принципиальное различие между патриотизмом и национализмом. В его работах («К вечному миру», 1795; «Метафизика нравов», 1797) патриотизм определяется как лояльность правовому порядку и готовность к его совершенствованию. Патриот мыслит себя участником законодательного процесса и допускает критику существующих институтов. Национализм же основывается на представлении о превосходстве своего народа и противопоставлении его другим. Кантовская позиция важна тем, что она снимает кажущееся противоречие между патриотизмом и космополитизмом: стремление к справедливому правовому порядку внутри государства рассматривается как шаг к универсальному праву.

Гегель, напротив, усиливает акцент на государстве как носителе общего интереса. В «Философии права» (1821, §§ 257–270) он определяет патриотизм как уверенность в том, что частный интерес индивида реализуется через государство. Это понимание подчеркивает институциональную природу патриотизма, но одновременно содержит риск его абсолютизации. Если государство объявляется воплощением нравственной идеи, то возможность критической дистанции оказывается ограниченной. В таком случае патриотизм может трансформироваться в оправдание существующего порядка, независимо от его справедливости [Avineri, 1972].

Фихте в «Речах к немецкой нации» (1808) добавляет к этой линии культурное измерение. Он связывает патриотизм с языком, образованием и системой воспитания, рассматривая их как инструменты формирования национального сообщества. В его концепции патриотизм становится результатом институциональной работы, направленной на создание определенного типа личности.

Таким образом, к началу XIX века складывается сложное и многослойное понимание патриотизма. Он предстает как феномен, одновременно связанный с институтами, правом, воспитанием и культурной идентичностью. При этом сохраняется ключевой вопрос, заданный еще в античности:

как соотнести привязанность к конкретному политическому сообществу с универсальными принципами справедливости.

Для дальнейшего анализа принципиально важно, что в рамках просветительской и немецкой классической традиции патриотизм окончательно утрачивает связь с этнической или территориальной принадлежностью и становится функцией институционального устройства общества. Именно эта линия позволяет в дальнейшем перейти к рассмотрению его экономической базы.

1.3. Русская философская традиция: служение, соборность и «нравственная оседлость»

Русская философская мысль XIX–XX вв. формируется в особой интеллектуальной ситуации — на пересечении заимствованных европейских идей и глубоко укоренённого собственного духовного опыта. Именно это напряжение между «своим» и «чужим», между заимствованием и самобытностью делает её особенно продуктивной для анализа патриотизма. В отличие от западной традиции, где патриотизм чаще всего обсуждается через призму государства и права, русская мысль гораздо настойчивее ставит вопрос: чему именно принадлежит верность — государству или народу, институтам или живой культурной ткани? Этот вопрос становится центральным в знаменитом споре славянофилов и западников 1840–1850-х годов. По сути, это был не просто интеллектуальный конфликт, а попытка определить направление исторического развития России. Славянофилы — Хомяков, Киреевский, Аксаков — настаивали на том, что подлинная основа общественной жизни лежит не в государстве как таковом, а в более глубоком слое — в общине, в религиозной жизни, в том, что они называли соборностью. Государство в их понимании неизбежно носит внешний, принудительный характер, тогда как подлинная жизнь народа строится на свободе и внутреннем согласии.

Из этого следует важное для темы патриотизма различение. Любовь к отечеству не может быть сведена к лояльности государственной машине. Она прежде всего направлена на «землю» в широком смысле — на народ, культуру, историческую память. В этой логике возможно существование двойного отношения: внешняя лояльность государству как условие порядка и внутренняя привязанность к народу как подлинное содержание патриотизма. Аксаков доводит эту мысль до предела, утверждая, что русский народ, передав государству политическую власть, сохранил за собой свободу нравственной и духовной жизни. Тем самым патриотизм оказывается раздвоенным, и это раздвоение не является слабостью, а отражает саму структуру общественного бытия.

Западники — Грановский, Кавелин, Белинский — занимают противоположную позицию. Для них именно государство, построенное на праве и гражданских институтах, является необходимым условием подлинной свободы. Патриотизм в этом контексте означает не сохранение «самобытности», а преобразование страны, её включение в общеевропейское пространство права и политической ответственности. Их критика славянофилов направлена против идеализации допетровской Руси и против попытки подменить реальные институциональные проблемы апелляцией к духовным основаниям.

Этот спор выявляет проблему, которая остаётся актуальной и в современности: может ли патриотизм быть критическим? Может ли любовь к стране выражаться не в сохранении существующего порядка, а в стремлении его изменить? Или же любая критика неизбежно воспринимается как угроза целостности?

Владимир Соловьёв предлагает попытку синтеза, которая позволяет выйти за пределы этой оппозиции. В его работах патриотизм приобретает универсалистское измерение. Он резко отвергает национализм, который называет «зоологическим», — форму коллективной самоутверждённости, основанной на противопоставлении «своих» и «чужих». Для Соловьёва истинная любовь к своему народу не может быть замкнутой. Она всегда соотнесена с более широким целым — с человечеством как духовным единством. «Любовь к своему народу, — пишет он, — не может противоречить любви к другим народам, ибо все человечество — единый организм».

Эта позиция принципиальна: она вводит критерий, позволяющий отличить патриотизм от его искажённых форм. Если любовь к отечеству становится оправданием исключительности и враждебности, она утрачивает своё содержание. Тем самым патриотизм получает не только политическое, но и нравственное измерение.

Бердяев переносит обсуждение на иной уровень — экзистенциальный. Его различение «мужественного» и «женственного» патриотизма не следует понимать буквально; речь идёт о двух типах отношения к стране. Один связан с действием, ответственностью, готовностью к историческому выбору. Другой — с пассивной привязанностью, укоренённой в быту и привычке. Для Бердяева патриотизм не может быть чисто эмоциональным состоянием. Он требует усилия, внутреннего решения, готовности не только любить страну, но и нести за неё ответственность. В этом смысле патриотизм становится формой свободы, а не её отрицанием.

Особое значение в русской традиции приобретает понятие служения. У Франка оно получает философскую разработку как особый тип отношения личности к сверхличным ценностям. Служение не есть подчинение; оно предполагает внутреннее согласие и свободное принятие того, чему человек служит. Именно в этом соединении свободы и ответственности

Франк видит основу общественной жизни. Ильин развивает эту линию, подчеркивая, что патриотизм требует не только чувства, но и действия. Он связывает его с правосознанием: любовь к отечеству невозможна без уважения к закону и стремления к справедливому порядку.

Наконец, у Лихачёва появляется, казалось бы, более простое, но чрезвычайно важное понятие — «нравственная оседлость». В отличие от абстрактных концепций, оно обращает внимание на конкретный опыт. Патриотизм начинается не с государства и не с идеологии, а с привязанности к месту — к дому, улице, городу. Но эта привязанность не исчерпывает его. Она должна быть дополнена знанием истории, культуры, языка. Только в этом случае она становится основой для более широкой гражданской идентичности.

Для нашей темы это имеет принципиальное значение. Русская традиция настойчиво показывает, что патриотизм не может быть исключительно «верхним» явлением, навязанным государством. Он формируется снизу, из опыта участия в конкретных сообществах. Если этот уровень разрушен — если отсутствует связь с локальной средой, с реальными формами коллективной жизни, — то любые попытки апеллировать к «большой стране» оказываются пустыми.

Тем самым русская философия вводит в анализ патриотизма несколько ключевых измерений: различие между государством и народом, идею служения как формы свободной ответственности и укоренённость патриотизма в конкретном опыте жизни. Эти элементы оказываются особенно важными для перехода к экономическому анализу, поскольку они позволяют увидеть, что гражданская солидарность не может быть построена исключительно на уровне абстрактных институтов.

1.4. Современные дискуссии: конституционный, конструктивный, рефлексивный патриотизм

Во второй половине XX века обсуждение патриотизма приобретает новую остроту. Исторический опыт национализма, приведшего к катастрофам мировых войн, ставит под сомнение саму возможность позитивной интерпретации патриотической привязанности. Одновременно процессы деколонизации и формирование мультикультурных обществ делают невозможным прежнее понимание нации как культурно однородного целого. В этих условиях возникает вопрос: может ли существовать форма патриотизма, совместимая с универсальными правами человека и культурным разнообразием?

Одним из наиболее влиятельных ответов становится концепция конституционного патриотизма, разработанная Юргеном Хабермасом. В её ос-

нове лежит отказ от этнической или культурной идентичности как основания политического единства. В современных обществах, где сосуществуют разные традиции и формы жизни, единственным устойчивым основанием солидарности может быть приверженность правовым принципам и демократическим процедурам. Конституция выступает не просто юридическим документом, а символом общего порядка, который признаётся всеми гражданами. В этом смысле патриотизм смещается с уровня «кто мы» на уровень «по каким правилам мы живём» [Habermas, 1996].

Сильная сторона этой концепции заключается в её нормативной ясности. Она позволяет сохранить политическое единство, не прибегая к исключающим формам идентичности. Однако её критики указывают на существенное ограничение: подобный патриотизм оказывается чрезмерно абстрактным. Он требует лояльности к принципам, но не даёт ответа на вопрос о том, как формируется эмоциональная привязанность к сообществу.

Именно на это указывает Макинтайр, утверждая, что патриотизм по своей природе не может быть универсальным. Он всегда связан с конкретной историей, с памятью, с опытом совместной жизни. Попытка построить его исключительно на абстрактных принципах приводит к утрате той глубины, которая делает его устойчивым. В его интерпретации патриотизм не противостоит универсальной морали, но и не сводится к ней. Он представляет собой особую форму лояльности, укоренённую в конкретном сообществе.

Дэвид Миллер добавляет к этому аргументу экономическое измерение. Он показывает, что социальная солидарность, необходимая для функционирования государства благосостояния, невозможна без чувства принадлежности. Перераспределение ресурсов предполагает доверие и готовность воспринимать других как «своих». Без этого налоговая система и социальная политика теряют легитимность. В этом смысле патриотизм оказывается не только моральной, но и институциональной категорией [Miller, 1995].

Позиция Нуссбаум, напротив, возвращает дискуссию к космополитической традиции. Она признаёт ценность локальной привязанности, но настаивает на её подчинённости универсальным нормам. Патриотизм допустим лишь в той мере, в какой он не ограничивает моральную ответственность человека пределами национального сообщества [Nussbaum, 1996]. Тем самым она вводит важный корректив: любая форма патриотизма должна быть соотнесена с более широкими этическими обязательствами.

Попытку эмпирического примирения этих позиций предлагает концепция конструктивного патриотизма. В отличие от «слепого» патриотизма, который исключает критику и требует безусловной лояльности, конструктивный патриотизм предполагает сочетание привязанности и рефлексии. Любовь к стране здесь не исключает признания её проблем, а напротив, делает возможным их осмысление и преодоление [Schatz et al., 1999].

Близкая идея развивается в концепции рефлексивного патриотизма. Здесь акцент переносится на способность общества критически осмыслять собственную историю, включая её травматические и противоречивые аспекты. Патриотизм становится зрелым только тогда, когда он способен выдержать столкновение с негативным опытом, не разрушаясь и не превращаясь в идеологическую защиту.

В совокупности эти подходы позволяют сформулировать важный вывод. Современный гражданский патриотизм не может быть ни чисто абстрактным, ни исключительно эмоциональным. Он должен опираться на реальные институты, которые вызывают доверие, и одновременно включать в себя способность к критической рефлексии. Только в этом случае он способен избежать вырождения либо в национализм, либо в пустую декларацию.

С точки зрения экономического анализа это означает, что патриотизм не может существовать без соответствующей институциональной базы. Доверие к государству, готовность участвовать в перераспределении ресурсов, признание общих правил — всё это требует конкретных условий: справедливого распределения, прозрачности, доступности информации, развитой системы образования и публичной дискуссии. Без этих условий патриотизм неизбежно теряет своё содержание, превращаясь либо в инструмент мобилизации, либо в форму символической лояльности, не имеющей реальных последствий.

1.5. Пять принципов гражданского патриотизма: нормативный каркас

Если рассматривать историческое развитие идеи патриотизма не как набор разрозненных концепций, а как последовательное разворачивание одной проблемы, становится возможным перейти от описания к нормативному обобщению. За различиями между античной, просветительской, русской и современной традициями проступает устойчивая структура: патриотизм сохраняет свое содержание лишь при определенных условиях. Эти условия можно зафиксировать в виде принципов, образующих его нормативный каркас. В более развернутом виде данный подход представлен в монографии автора [Костиков, 2026, гл. 3]; здесь он задается в концентрированной форме как переход к дальнейшему экономическому анализу.

Прежде всего необходимо уточнить, к чему именно может быть направлена патриотическая привязанность. История показывает, что этот вопрос далеко не тривиален. В одних случаях патриотизм связывается с народом, понимаемым этнически; в других — с государством как институциональной целостностью; в-третьих — с фигурой власти. Однако во всех этих вариантах возникает риск либо исключительности, либо подчинения.

Гражданский патриотизм возникает только тогда, когда объектом лояльности становятся институты — но не любые, а такие, которые воспринимаются как справедливые и выражающие общее благо. При этом сама лояльность оказывается внутренне напряженной: она невозможна без способности к критике. Парадокс состоит в том, что именно критическая рефлексия делает лояльность осмысленной. Без нее она вырождается в привычку или страх; без лояльности же критика утрачивает направленность и превращается в разрушение. Таким образом, первый принцип фиксирует не равновесие, а устойчивое напряжение, без которого патриотизм не существует.

Второй принцип касается социальной справедливости — категории, которая в политической философии часто рассматривается отдельно от патриотизма, но фактически определяет его границы. Там, где социальный порядок воспринимается как фундаментально несправедливый, патриотическая риторика начинает выполнять компенсаторную функцию. Она призвана удержать видимость единства там, где его нет. Это особенно заметно в обществах с устойчивым неравенством: чем глубже разрыв, тем настойчивее апелляция к «общей судьбе». Однако такая апелляция не создает солидарности, а лишь маскирует ее отсутствие. Гражданский патриотизм возможен только при условии, что различия в положении людей воспринимаются как в целом оправданные, а правила распределения — как легитимные. Речь идет не об устранении неравенства как такового, а о его институциональном признании и ограничении. Без этого патриотизм теряет свою реальную опору и превращается в язык, оторванный от опыта.

Третий принцип возвращает нас к исходной интуиции античности: к связи патриотизма с участием. Эта связь нередко утрачивается в современных интерпретациях, где патриотизм редуцируется к идентичности или чувству. Между тем принадлежность к политическому сообществу становится реальной только через практику. Человек начинает воспринимать государство как «свое» не тогда, когда он разделяет определенные символы, а тогда, когда он участвует в процессах, имеющих последствия. Формы такого участия могут быть различны и не сводятся к политике в узком смысле. Важно другое: наличие каналов, через которые индивидуальное действие включается в общее. Там, где эти каналы отсутствуют или носят формальный характер, патриотизм неизбежно принимает декоративную форму. Он существует как язык, но не как опыт.

Четвертый принцип касается пределов патриотической привязанности. Вся история обсуждения патриотизма может быть прочитана как попытка решить одну и ту же проблему: как совместить привязанность к «своему» с признанием универсальных норм. Жесткое противопоставление патриотизма и космополитизма оказывается в этом контексте методологически ошибочным. Гражданский патриотизм не отрицает универсальные

принципы, но и не растворяется в них. Он предполагает, что принадлежность к конкретному сообществу не освобождает от более широких моральных обязательств. Это означает, что патриотизм не может служить оправданием действий, противоречащих базовым представлениям о справедливости. В противном случае он утрачивает свою нормативную легитимность и превращается в форму группового эгоизма.

Наконец, пятый принцип вводит измерение, которое часто недооценивается в теоретических конструкциях, но оказывается решающим на практике, — укорененность. Патриотизм не возникает на уровне абстракции. Он формируется в пространстве повседневности, в конкретных связях, которые связывают человека с местом, с историей, с другими людьми. Эта укорененность не сводится к эмоциональной привязанности; она предполагает знание, участие и память. Именно поэтому попытки сформировать патриотизм исключительно через идеологию оказываются неустойчивыми. Без опоры на конкретный опыт они не закрепляются и легко сменяются другими формами идентичности. «Нравственная оседлость», о которой писал Лихачёв, указывает на этот фундаментальный уровень, без которого любые более высокие конструкции оказываются висящими в воздухе.

Важно подчеркнуть, что перечисленные принципы не образуют простой совокупности. Они взаимозависимы и проявляют себя только в единстве. Институциональная лояльность без справедливости превращается в подчинение; справедливость без участия остается внешней; участие без укорененности не закрепляется; укорененность без универсальных ориентиров замыкается в локальности. Патриотизм существует именно как результат их пересечения, а не как сумма отдельных элементов.

Такое понимание позволяет сделать следующий шаг. Если патриотизм зависит от качества институтов, от восприятия справедливости, от реального участия и от структуры повседневного опыта, то он не может рассматриваться исключительно как идеологическое или культурное явление. Он имеет вполне определенные институциональные и, в конечном счете, экономические основания. Вопрос о патриотизме тем самым неизбежно переходит в вопрос о том, каким образом устроены механизмы распределения, какие стимулы формируют поведение граждан и в какой мере существующие институты действительно производят опыт общности. Именно этот переход — от нормативного каркаса к его экономической реализации — и станет предметом дальнейшего анализа.

1.6. Экзистенциальное измерение: опыт покинутости, унижения, чуждости, разрыва времен и осады

Философская реконструкция патриотизма остается неполной, если она ограничивается лишь анализом идей, норм и институтов. Патриотизм

существует не только как концепт, но и как переживание, и именно на уровне переживания обнаруживаются его подлинные основания и пределы. В этом смысле экзистенциальное измерение не является дополнением к институциональному анализу, а выступает его скрытым фундаментом. В развернутом виде данный слой рассмотрен в монографии автора [Костиков, 2026, гл. 1]; здесь важно обозначить его в той мере, в какой он позволяет понять, почему одни формы патриотизма оказываются устойчивыми, а другие — распадаются.

Характерно, что ключевые переживания, определяющие отношение человека к своему политическому сообществу, носят преимущественно негативный характер. Речь идет не о «любви» как исходной точке, а о разрывах, напряжениях, утрате и угрозе. Именно в этих состояниях патриотизм становится проблемой — и одновременно необходимостью.

Первым из таких состояний является опыт покинутости. Он возникает в точке расхождения между конкретной, телесно переживаемой привязанностью к месту — двору, улице, городу, — и абстрактным образом «большой Родины», предъявляемым официальным дискурсом. Человек может испытывать глубокую и подлинную любовь к своей «малой родине», но не находить для нее выражения на уровне государственных институтов и символов. Более того, он может сталкиваться с ситуацией, когда именно государственные решения — экономические, инфраструктурные, экологические — разрушают ту среду, с которой связана его идентичность. В этом случае возникает не просто отчуждение, а ощущение, что «большая» политическая реальность не только не поддерживает, но и угрожает тому, что действительно значимо. Экономическая политика, игнорирующая региональные различия и разрушающая локальные сообщества, тем самым усиливает этот опыт, подрывая возможность более широкой гражданской солидарности.

Второе состояние — опыт унижения — связано с нарушением базового чувства достоинства. В отличие от покинутости, здесь речь идет не об отсутствии государства, а о его присутствии в искаженной форме. Человек сталкивается с институтами, но это взаимодействие сопровождается несправедливостью, неравным обращением, бюрократическим произволом. Низкая оплата труда, недоступность качественного образования и медицины, пренебрежительное отношение со стороны представителей власти формируют устойчивое ощущение собственной второсортности. В таких условиях призыв к патриотизму неизбежно воспринимается как внешнее требование, не имеющее отношения к реальному опыту. Более того, он может восприниматься как форма символического давления. Опыт унижения разрушает саму возможность идентификации с политическим сообществом и становится одним из ключевых источников социального недовольства. Соответственно, экономи-

ческая основа гражданского патриотизма должна включать не только перераспределительные механизмы, но и институциональные формы, защищающие достоинство — через справедливую оплату труда, доступ к базовым благам и уважительное взаимодействие с государством.

Третье состояние — опыт чуждости — возникает там, где нарушается совпадение между самоощущением человека и тем, как он воспринимается другими. Он особенно остро проявляется у меньшинств, мигрантов, людей с иной культурной или религиозной принадлежностью, но не ограничивается ими. Даже формально «свои» могут переживать чуждость, если их жизненный опыт не вписывается в доминирующую модель идентичности. В результате возникает ситуация, в которой человек юридически принадлежит сообществу, но не признается им в полной мере. Патриотизм в таких условиях становится проблематичным: он требует признания, которого нет. Гражданская модель патриотизма предлагает здесь принципиальное решение, смещая основание принадлежности с «происхождения» на участие и приверженность институтам. Однако это решение остается декларативным, если сами институты не обеспечивают реальной инклюзии.

Четвертое состояние — опыт разрыва времен — связано с нарушением исторической непрерывности. Патриотизм предполагает определенную связь поколений, передачу памяти, наличие общего символического пространства, в котором прошлое, настоящее и будущее соотносятся друг с другом. Однако в обществах, переживающих резкие трансформации, эта связь разрушается. Разные поколения живут в различных исторических реальностях, и их представления о прошлом не совпадают. То, что для одних является источником гордости, для других оказывается либо пустым символом, либо поводом для критического переосмысления. В результате патриотизм лишается своей временной глубины: он либо обращается к идеализированному прошлому, либо строится на неопределенных ожиданиях будущего. Восстановление преемственности требует не столько идеологической работы, сколько институциональных механизмов, обеспечивающих межпоколенческий диалог и справедливое распределение ресурсов между поколениями.

Наконец, пятое состояние — опыт осады — связано с восприятием внешней угрозы. В историческом плане именно такие ситуации часто становились моментами резкой мобилизации и усиления патриотических настроений. Ощущение опасности, направленной извне, способно временно преодолеть внутренние различия и создать эффект единства. Однако этот эффект носит двойственный характер. С одной стороны, он действительно может усиливать солидарность; с другой — он снижает порог критичности и делает общество восприимчивым к манипуляциям. В состоянии осады любые формы несогласия могут интерпретироваться как предательство, а сами угрозы — как инструмент политической мобилизации. В этом

контексте особое значение приобретает способность общества различать реальные и сконструированные угрозы, что связано с уровнем образования, качеством медиа и общей когнитивной автономией.

Все перечисленные состояния образуют не случайный набор, а структурированное поле переживаний, в котором формируется отношение человека к своему политическому сообществу. Они показывают, что патриотизм не может быть сведен ни к идеологической установке, ни к институциональной форме. Он всегда опосредован опытом — и именно этот опыт определяет, будет ли патриотическая риторика восприниматься как подлинная или как внешняя и навязанная.

Отсюда следует важный вывод для дальнейшего анализа. Экономическая политика, претендующая на формирование гражданского патриотизма, не может ограничиваться задачами эффективности или роста. Она неизбежно производит определенные формы опыта: усиливает или ослабляет чувство покинутости, унижения, чуждости, разрыва или осады. В этом смысле экономические институты оказываются не только механизмами распределения ресурсов, но и механизмами формирования экзистенциального отношения к обществу. Игнорирование этого уровня превращает любые реформы в технократические упражнения, не затрагивающие глубинных оснований гражданской солидарности.

Глава 2. Экономический патриотизм: история понятия и современные дискуссии

Экономический патриотизм как концепт обладает внутренней двойственностью, которая во многом предопределяет сложность его анализа. С одной стороны, он укоренен в длительной традиции экономической мысли, где вопрос о соотношении национального интереса и рыночной рациональности возникал всякий раз, когда обсуждались торговля, промышленная политика и роль государства. С другой стороны, его современное академическое оформление произошло сравнительно недавно, и потому он остается полем напряженных дискуссий, в которых теоретические аргументы неизбежно переплетаются с идеологическими позициями. В этой связи задача настоящей главы состоит не столько в простом изложении истории идей, сколько в выявлении тех концептуальных развилок, которые имеют непосредственное значение для построения институционально-рентной модели гражданского патриотизма.

2.1. От меркантилизма к Фридриху Листу: рождение экономического патриотизма

Ранние формы экономического патриотизма обнаруживаются в практиках и рассуждениях, которые позднее были объединены под названием меркантилизма. Вопреки сложившейся в классической политической экономии интерпретации, меркантилизм не был теоретически однородной системой. Он представлял собой совокупность взглядов, формировавшихся в контексте становления национальных государств и отражавших их потребности в условиях острой межгосударственной конкуренции. Работы Томаса Мана и политика Кольбера демонстрируют не столько абстрактное понимание экономики, сколько прагматическую установку: хозяйственная деятельность должна служить укреплению государственной мощи.

В этой перспективе богатство нации связывалось с накоплением драгоценных металлов, а международная торговля интерпретировалась как пространство соперничества за ограниченные ресурсы. Отсюда следовала необходимость активного вмешательства государства — через тарифную защиту, субсидирование экспорта, регулирование импорта. Экономика не мыслилась как автономная сфера, обладающая собственными законами; она рассматривалась как инструмент политики. Принцип приоритета национального интереса над абстрактной рыночной эффективностью, сформулированный в этом контексте, оказался значительно более устойчивым, чем конкретные представления меркантилистов о природе богатства.

Классическая политическая экономия XVIII–XIX вв. предложила принципиально иную интерпретацию хозяйственной реальности. В «Богатстве народов» Смит подвергает меркантилистскую систему критике, демонстрируя, что богатство следует понимать как совокупность производимых благ, а не как накопление металлов [Smith, 1776]. Международная торговля в этой модели перестает быть игрой с нулевой суммой и приобретает характер взаимовыгодного обмена. Разделение труда и специализация позволяют странам повышать общее благосостояние, а ограничения торговли ведут к его снижению.

Рикардо развивает эту линию, вводя теорию сравнительных преимуществ [Ricardo, 1817]. Его аргументация направлена на устранение интуитивного представления о том, что экономическое превосходство одной страны автоматически означает потери для другой. Даже при полной асимметрии производственных возможностей торговля остается рациональной стратегией для обеих сторон. В результате формируется мощная теоретическая конструкция, в которой рынок выступает как универсальный механизм координации, не зависящий от политических границ.

Тем не менее, уже в рамках классической школы возникают элементы, свидетельствующие о внутреннем напряжении этой модели. Смит допускает необходимость ограничений торговли в целях обороны, а Милль формулирует аргумент о «зарождающихся отраслях», признавая, что временный протекционизм может быть оправдан в условиях неравномерного развития [Mill, 1848]. Эти оговорки не разрушают теоретического каркаса классической экономики, но указывают на его границы: универсалистская логика рынка сталкивается с эмпирической реальностью, в которой страны существенно различаются по уровню развития и институциональным возможностям.

Фридрих Лист делает этот разрыв центральным элементом своего анализа. В «Национальной системе политической экономии» он критикует космополитическую направленность классической теории, указывая на ее применимость лишь к гипотетическому миру равных и объединенных наций [List, 1841/1909]. В реальности же, где существуют устойчивые различия в уровне индустриализации и технологического развития, свободная торговля закрепляет доминирование передовых экономик. В этих условиях, утверждает Лист, единицей анализа должна стать нация — исторически сложившееся сообщество, обладающее собственной культурой, институтами и интересами.

Формула Листа о том, что «между индивидом и человечеством стоит нация» [List, 1841/1909, p. 174], фиксирует принципиальное смещение в экономическом мышлении. Экономическая политика должна исходить не из абстрактных универсальных принципов, а из конкретного положения

страны в системе международного разделения труда. В этой логике протекционизм приобретает иной смысл: он становится инструментом развития, направленным на формирование национальной промышленной базы. «Воспитательный протекционизм» предполагает временную защиту отраслей, обладающих потенциалом роста, и сопровождается активной государственной политикой в области инфраструктуры, образования и технологий.

Существенно, что Лист не отвергает свободную торговлю как таковую. Он рассматривает ее как желаемое состояние, достижимое при условии выравнивания уровней развития. До тех пор, пока сохраняется структурная асимметрия, протекционистские меры выступают как средство ее преодоления. В этом смысле экономический патриотизм у Листа не сводится к изоляционизму; он направлен на создание условий для равноправного участия в мировой экономике.

Сходная логика прослеживается в американской традиции, прежде всего в работах Александра Гамильтона. В «Докладе о мануфактурах» он обосновывает необходимость государственной поддержки промышленности как условия экономической независимости молодой республики [Hamilton, 1791]. Его аргументация исходит из признания того, что рынок не гарантирует развития при неблагоприятной стартовой позиции. Защитные тарифы, субсидии, стимулирование технологического заимствования рассматриваются как элементы стратегии, направленной на формирование конкурентоспособной экономики.

Исторический опыт Соединенных Штатов подчеркивает важное обстоятельство: протекционизм не является исключением, характерным лишь для «отстающих» стран. На протяжении значительной части своей истории США проводили политику защиты внутреннего рынка, переходя к либерализации лишь после достижения устойчивого промышленного и технологического преимущества. Это обстоятельство проблематизирует универсалистские претензии либеральной доктрины и подтверждает тезис о том, что экономическая политика неизбежно соотносится с конкретными условиями развития.

В результате уже на этом этапе формируется устойчивое противоречие, определяющее дальнейшее развитие дискуссии. С одной стороны, существует теоретическая модель, в которой свободный рынок обеспечивает эффективное распределение ресурсов. С другой — историческая реальность, в которой государства действуют в условиях неравенства и конкуренции. Экономический патриотизм возникает как способ осмысления этого противоречия, фиксируя необходимость учитывать национальные интересы в рамках глобальной экономической системы.

2.2. Экономический национализм vs. экономический патриотизм в XX–XXI веках

История экономического патриотизма в XX веке развивается не как постепенное уточнение прежних идей, а как их резкая переоценка. Если в XIX веке протекционизм и государственное вмешательство могли рассматриваться как инструменты развития, то первая половина XX века радикально изменила их восприятие. Экономический национализм оказался тесно связан с политическими режимами и практиками, которые дискредитировали его не только как экономическую стратегию, но и как интеллектуальную позицию.

Межвоенный период стал моментом, когда логика экономического самоутверждения государств достигла крайней формы. Торговые войны, валютные ограничения, попытки автаркии — все это формировало замкнутые экономические пространства, в которых каждая страна стремилась минимизировать зависимость от внешнего мира. Великая депрессия лишь усилила эти тенденции. Протекционистский закон Смута–Хоули (1930), вызвавший цепную реакцию ответных мер, стал символом того, как защита национального рынка может обернуться глобальным экономическим коллапсом. В ретроспективе именно этот период закрепил за экономическим национализмом репутацию деструктивной и иррациональной политики.

После Второй мировой войны формируется принципиально иной подход. Создание Бреттон-Вудской системы, Генерального соглашения по тарифам и торговле, а позднее Всемирной торговой организации было направлено на институциональное ограничение национальных экономических стратегий. Либерализация торговли и движения капиталов воспринималась не просто как экономическая необходимость, но как условие предотвращения новых конфликтов. В академическом дискурсе экономический национализм начинает ассоциироваться с популизмом, политической близорукостью и угрозой международной стабильности.

Однако уже во второй половине XX века эта картина начинает усложняться. Практика экономического развития демонстрирует, что жесткое противопоставление «рынка» и «государства» не описывает реальную динамику. Успех Японии, Южной Кореи, Тайваня и других стран Восточной Азии показывает, что активная промышленная политика и избирательный протекционизм могут сочетаться с высокой интеграцией в мировую экономику. Работы Чалмерса Джонсона и Алисы Амсден убедительно продемонстрировали, что государство в этих странах выступало не как пассивный регулятор, а как стратегический актор, направлявший развитие экономики [Johnson, 1982; Amsden, 1989]. Эти примеры трудно вписывались в либеральную ортодоксию, поскольку они показывали: отказ от вмешательства не является универсальным рецептом развития.

Параллельно с этим в самих развитых странах усиливается тревога по поводу утраты промышленного и технологического лидерства. Конкуренция со стороны Японии, а затем Китая, ставит под вопрос устойчивость прежних моделей роста. Именно в этот период возникает интерес к так называемой стратегической торговой политике. Работы Кругмана, Брандера и Спенсер показывают, что в условиях несовершенной конкуренции и возрастающей отдачи от масштаба государственное вмешательство может приносить национальные выгоды, позволяя перераспределять глобальную ренту в пользу своих компаний. Экономика перестает восприниматься как нейтральное пространство, в котором автоматически реализуется оптимум; она вновь предстает как поле борьбы за позиции и ресурсы.

На этом фоне в начале XXI века появляется термин «экономический патриотизм». Его возникновение не является чисто теоретическим событием; оно связано с конкретными политическими и экономическими процессами. Усиление трансграничных слияний и поглощений, рост мобильности капитала, формирование глобальных корпораций приводят к тому, что контроль над ключевыми активами выходит за пределы национальных юрисдикций. В этих условиях государства начинают искать способы сохранить влияние на стратегические отрасли, не отказываясь при этом от участия в глобальной экономике.

Показателен французский опыт середины 2000-х годов, где политика «экономического патриотизма» была артикулирована на уровне официальной риторики. Попытки иностранных компаний приобрести ключевые активы в энергетике и промышленности вызывали не только экономические, но и символические реакции. Государство вмешивалось, блокируя сделки или изменяя их условия, при этом избегая языка протекционизма и апеллируя к защите национального суверенитета. Этот сдвиг в языке не случаен: речь идет уже не о закрытии экономики, а о попытке управлять открытостью.

Финансовый кризис 2008–2009 годов усиливает эти тенденции. Государства, вынужденные спасать финансовые системы и поддерживать занятость, начинают активно использовать инструменты, направленные на поддержку национального бизнеса. Даже в странах, традиционно ассоциируемых с либеральной экономикой, появляются элементы политики «предпочтения своим». Одновременно рост Китая, сочетающего рыночные механизмы с мощной государственной поддержкой, делает очевидным: универсальные правила игры не являются одинаково обязательными для всех участников.

В этой ситуации возникает необходимость концептуального различения. Экономический патриотизм начинает осмысляться как особый тип политики, отличающийся как от классического протекционизма, так и от экономического национализма в его радикальных формах. Работы Клифта и

Волл предлагают одно из наиболее влиятельных определений: экономический патриотизм — это использование дискреционных инструментов для защиты национальных интересов в условиях открытой экономики [Clift, Woll, 2012a; 2012b]. Важен не столько набор конкретных мер, сколько способ их применения: речь идет о действиях, формально не нарушающих международные обязательства, но создающих преимущества для национальных акторов.

Здесь возникает характерная «серая зона» современной экономической политики. Государства используют механизмы, которые не подпадают под прямые запреты, но позволяют влиять на структуру рынка. Скрининг иностранных инвестиций, государственные закупки, поддержка национальных чемпионов, регулирование стандартов — все эти инструменты не отменяют глобализацию, но изменяют ее конфигурацию. Экономический патриотизм оказывается не альтернативой открытой экономике, а способом ее политического управления.

При этом важно различие, на которое указывает Фетцер. В отличие от классических экономических аргументов, современный экономический патриотизм часто апеллирует к категориям безопасности и суверенитета [Fetzer, 2012]. Защита стратегических отраслей обосновывается не только (и не столько) соображениями эффективности, сколько необходимостью сохранить контроль над ключевыми ресурсами и инфраструктурами. Экономика в этом контексте вновь оказывается неотделимой от политики, но уже в иных институциональных условиях.

Это различие имеет принципиальное значение. Экономический национализм в его классической форме стремился к замыканию и нередко становился инструментом рентоориентированных элит. Экономический патриотизм действует иначе: он возникает внутри глобализированной экономики и использует ее правила, адаптируя их к национальным интересам. Вопрос, однако, остается открытым. Те же самые инструменты могут служить как развитию и укреплению институтов, так и закреплению неравенства и захвату ренты.

Именно здесь проходит ключевая линия дальнейшего анализа. Экономический патриотизм сам по себе не является ни благом, ни угрозой. Его значение определяется теми институциональными условиями, в которых он реализуется. При одних условиях он может поддерживать гражданскую солидарность и усиливать доверие к институтам; при других — превращаться в механизм перераспределения в пользу узких групп. Понять эту границу и означает перейти от описания к теории.

2.3. Современные исследования: эмпирика и кейсы

Переход к эмпирическому анализу радикально меняет перспективу рассмотрения экономического патриотизма. На уровне теории он может быть описан как определённая установка или совокупность принципов, однако в реальной практике он предстает как сложная, многослойная система решений, принимаемых в условиях институциональных ограничений, политических конфликтов и асимметрии ресурсов. В этом смысле экономический патриотизм оказывается не столько теорией, сколько способом действия, и именно это делает его особенно чувствительным к контексту.

Если рассматривать современные кейсы, становится очевидно, что экономический патриотизм не исчезает в условиях глобализации, как это предполагалось в либеральной теории конца XX века. Напротив, он меняет форму, адаптируется и зачастую становится более изощрённым. Глобальная интеграция не устраняет национальные интересы, а лишь усложняет способы их выражения. Чем более открыта экономика, тем более значимым становится вопрос о контроле над ключевыми узлами этой открытости — технологическими, финансовыми, инфраструктурными.

Европейский Союз в этом отношении представляет собой особенно показательный пример. Его институциональная архитектура изначально была направлена на ограничение национальных экономических стратегий в пользу наднационального регулирования. Однако именно в этой среде обнаруживается парадокс: экономический патриотизм не только не исчезает, но приобретает новые, более сложные формы. Он перестает быть прямолинейной политикой защиты рынка и превращается в систему косвенных инструментов, встроенных в рамки формально либерального порядка.

Государства-члены ЕС действуют в условиях, где прямой протекционизм либо запрещён, либо строго ограничен. Это заставляет их искать альтернативные способы воздействия на экономическую структуру. В результате формируется своего рода «вторичный слой» экономической политики, в котором ключевую роль играют механизмы, не нарушающие формальных правил, но позволяющие перераспределять преимущества. Регулирование иностранных инвестиций, стандарты безопасности, промышленная политика, субсидирование стратегических отраслей — все это становится инструментами, через которые реализуется экономический патриотизм.

Германский пример здесь особенно важен, поскольку он показывает, как подобные механизмы функционируют в наиболее институционально развитой и глобально интегрированной экономике Европы. Расширение контроля над иностранными инвестициями и поддержка производства полупроводников демонстрируют, что даже в условиях глубокой интеграции сохраняется стремление к технологическому суверенитету. Этот суверe-

нитет понимается не как изоляция, а как способность контролировать критические сегменты цепочек добавленной стоимости. Тем самым экономический патриотизм приобретает новую направленность: он ориентирован не на защиту рынка в целом, а на контроль над его ключевыми элементами.

Итальянская практика «золотой акции» дополняет эту картину, показывая, что речь идет не только об экономике в узком смысле, но и о политике символического контроля. Вмешательство государства в сделки с участием иностранных инвесторов отражает не только экономические расчёты, но и представления о допустимых границах внешнего влияния. Экономический патриотизм здесь выступает как форма защиты не только производственных мощностей, но и структур власти.

Если европейский опыт демонстрирует трансформацию экономического патриотизма в условиях институциональных ограничений, то восточноазиатские «государства развития» позволяют увидеть его в более «чистой» форме — как исходный принцип организации экономической политики. В этих странах экономический патриотизм не адаптируется к внешним правилам, а формирует их на национальном уровне.

Ключевым элементом этой модели является особый тип государства — не просто регулирующего, но стратегически направляющего. Исследования Джонсона, Амсден и Уэйда показывают, что успех Японии, Южной Кореи и Тайваня был связан с формированием институциональной структуры, способной сочетать рыночные стимулы с государственным контролем [Johnson, 1982; Amsden, 1989; Wade, 1990]. Это сочетание не было спонтанным: оно требовало высокой компетентности бюрократии, автономии от частных интересов и способности формулировать долгосрочные цели.

Особое значение имеет механизм условности государственной поддержки. В отличие от классического протекционизма, где защита часто носит безусловный характер, в азиатской модели она привязана к результатам. Компании получают доступ к ресурсам, но обязаны демонстрировать рост производительности, освоение технологий и выход на внешние рынки. Это создает систему дисциплины, в которой экономический патриотизм перестает быть оправданием неэффективности и становится инструментом ее преодоления.

Здесь обнаруживается важный момент: экономический патриотизм может функционировать как механизм формирования конкурентоспособности, а не ее подмены. Он не защищает слабость, а создает условия для ее преодоления. Именно это отличает азиатский опыт от многих других случаев, где государственная поддержка закрепляет отставание.

Латиноамериканский опыт, напротив, демонстрирует, насколько легко этот баланс нарушается. Здесь экономический патриотизм часто принимает форму ресурсного национализма или политики импортозаме-

щения, но при этом оказывается лишен институциональной основы, необходимой для его продуктивной реализации. В результате те же инструменты, которые в одном контексте способствуют развитию, в другом приводят к стагнации.

Аргентина и Венесуэла являются в этом смысле не исключениями, а показательными случаями. Их опыт показывает, что апелляция к экономическому суверенитету сама по себе не гарантирует успешной трансформации экономики. Без механизмов подотчетности, без связи между поддержкой и результатами, без институциональной автономии государства экономический патриотизм превращается в инструмент перераспределения ресурсов, не создающий устойчивых структур развития.

Особенно важно, что в этих случаях экономический патриотизм часто сопровождается мощной риторикой, апеллирующей к национальному достоинству и исторической справедливости. Однако именно это сочетание — сильная риторика и слабые институты — делает его особенно уязвимым к вырождению. Он начинает выполнять не функцию развития, а функцию легитимации существующего распределения власти.

В результате сравнительный анализ показывает, что экономический патриотизм не является однозначной стратегией. Его содержание определяется не только целями, но и средствами, а главное — институциональной средой. Там, где существуют механизмы дисциплины, прозрачности и ответственности, он может служить развитию. Там, где эти механизмы отсутствуют, он превращается в форму рентоориентированного поведения.

Это различие невозможно свести к простым категориям «хорошей» или «плохой» политики. Оно указывает на более глубокую проблему — проблему институционального дизайна. Экономический патриотизм оказывается своего рода тестом: он выявляет, способно ли государство использовать власть для создания общественного блага или оно лишь перераспределяет ресурсы в пользу отдельных групп.

Именно в этой точке возникает необходимость перехода к теоретическому обобщению. Эмпирические кейсы показывают разнообразие форм, но не дают ответа на вопрос о механизмах. Для этого требуется модель, способная связать экономический патриотизм с логикой ренты, институциональной структурой и системой стимулов. Такой переход и будет осуществлен в последующих разделах.

2.4. Российская дискуссия: между безопасностью, институтами и рентой

Российская дискуссия об экономическом патриотизме занимает особое место в современной экономической мысли, поскольку в ней с наиболь-

шей остротой сталкиваются все те противоречия, которые в более стабильных институциональных средах часто сглаживаются. Здесь экономический патриотизм не является ни чисто теоретической конструкцией, ни исключительно политическим лозунгом — он выступает одновременно как аналитическая категория, инструмент государственной политики и элемент публичной риторики. Именно поэтому его интерпретации оказываются столь разнообразными и нередко взаимоисключающими.

Формирование этой дискуссии в 2000–2010-е годы происходило в контексте структурных трансформаций российской экономики, усиления роли государства и постепенного обострения внешнеполитических факторов. Уже на этом этапе стало очевидно, что экономический патриотизм в российском контексте не может быть сведён к одной логике
— он неизбежно оказывается полем конкурирующих интерпретаций, каждая из которых акцентирует различные аспекты одной и той же проблемы.

Одно из наиболее влиятельных направлений связывает экономический патриотизм с категорией национальной экономической безопасности. В этой интерпретации он рассматривается как ответ на внешние угрозы, будь то санкционное давление, технологическая зависимость или нестабильность глобальных рынков. Работы С.Ю. Глазьева и В.К. Сенчагова формируют здесь достаточно целостную концептуальную рамку, в которой экономический патриотизм приобретает характер стратегической необходимости. Суверенитет понимается не абстрактно, а как способность государства контролировать ключевые ресурсы и технологии, обеспечивающие его воспроизводство.

В этой логике импортозамещение занимает центральное место, но трактуется не как самоцель. Речь идет о создании условий, при которых страна способна самостоятельно производить критически важные товары и услуги, не подвергаясь рискам внешнего давления. Экономический патриотизм здесь тесно связан с представлением о мире как о пространстве конкурирующих государств, где зависимость неизбежно превращается в уязвимость. Отсюда акцент на оборонно-промышленном комплексе, продовольственной безопасности, финансовом суверенитете, контроле над информационными технологиями.

Однако уже на уровне этой интерпретации возникает важное напряжение. Стремление к автономии неизбежно сталкивается с реальностью глобальной взаимозависимости. Полная экономическая самодостаточность оказывается не только недостижимой, но и потенциально неэффективной. Это порождает вопрос о границах экономического патриотизма: где заканчивается рациональная защита и начинается изоляция, подрывающая собственное развитие.

Именно на этой границе формируется второе направление дискуссии, связанное с институциональной экономикой. Работы Р.М. Нуреева и

А.А. Аузана предлагают иной ракурс, смещая внимание с внешних угроз на внутреннюю структуру экономического взаимодействия. Экономический патриотизм здесь рассматривается не как реакция на внешнее давление, а как форма социального поведения, способная снижать трансакционные издержки и повышать уровень кооперации внутри общества.

В этой перспективе патриотизм выступает как элемент социального капитала. Готовность экономических агентов доверять друг другу, инвестировать в долгосрочные проекты, соблюдать неформальные обязательства оказывается тесно связанной с ощущением принадлежности к общему сообществу. Экономический патриотизм в таком понимании не столько защищает рынок от внешних воздействий, сколько структурирует его изнутри.

Однако потенциал этой модели принципиально зависит от качества институтов. Без надежной защиты прав собственности, независимого суда, прозрачных правил игры и предсказуемой государственной политики патриотическая мотивация не превращается в устойчивую кооперацию. Напротив, она может быть вытеснена недоверием и краткосрочными стратегиями. В этом смысле институциональный подход не отрицает экономический патриотизм, но радикально ограничивает условия его эффективности.

Третье направление российской дискуссии формируется в рамках критической традиции, связанной с работами Е.Т. Гайдара и В.А. Мау. Здесь экономический патриотизм рассматривается прежде всего как потенциальный инструмент рентоориентированного поведения. В этой интерпретации особое внимание уделяется тому, как риторика национальных интересов может использоваться для легитимации перераспределения ресурсов в пользу узких групп.

Критический подход исходит из того, что государство не является нейтральным актором. Оно может выступать как арбитр, но может и становиться объектом захвата. В условиях слабых институтов экономический патриотизм легко превращается в механизм ограничения конкуренции, создания привилегий и консервации неэффективных структур. Импортозамещение в этом контексте рассматривается не как инструмент развития, а как способ защиты неконкурентоспособных производителей от внешнего давления.

Опыт СССР и ряда развивающихся стран используется в качестве аргумента в пользу этой позиции. Политика, изначально ориентированная на автономию, приводит к технологическому отставанию, дефициту и снижению качества продукции. Экономический патриотизм, лишенный институциональных ограничений, начинает обслуживать интересы не общества в целом, а отдельных групп, способных влиять на распределение ресурсов.

Российская практика последнего десятилетия демонстрирует, что все три линии дискуссии имеют под собой реальные основания. После 2014 года политика импортозамещения действительно стала одним из клю-

чевых направлений экономической стратегии. В ряде отраслей были достигнуты заметные результаты, особенно в сельском хозяйстве, где рост производства оказался значительным. Это позволяет говорить о том, что элементы экономического патриотизма могут выполнять стимулирующую функцию.

В то же время механизмы реализации этой политики выявили системные проблемы. Государственные закупки, субсидии, распределение бюджетных ресурсов создают сложную институциональную среду, в которой возникает значительный потенциал для извлечения ренты. Ограничение конкуренции, непрозрачность процедур, зависимость бизнеса от государственных решений формируют условия, при которых эффективность отходит на второй план.

Особое значение в этом контексте приобретает феномен «патриотического потребления». В отличие от государственной политики, он возникает на уровне индивидуального выбора и потому кажется более «чистой» формой экономического патриотизма. Однако и здесь обнаруживаются ограничения. Эмпирические исследования показывают, что готовность потребителей поддерживать отечественного производителя носит условный характер. Она зависит от соотношения цены и качества и не является безусловной. Это свидетельствует о том, что патриотическая мотивация не способна полностью заменить экономическую рациональность.

Более того, «патриотическое потребление» может использоваться как инструмент маркетинга, позволяющий оправдывать ценовые премии или сниженное качество продукции. В этом случае оно перестает быть выражением гражданской позиции и превращается в элемент рыночной стратегии, не имеющей отношения к реальному развитию.

В совокупности российский опыт обнажает центральную дилемму экономического патриотизма. Он может выступать как инструмент укрепления суверенитета и стимулирования роста, но может и превращаться в механизм перераспределения и консервации неэффективности. Ключевым фактором, определяющим исход, оказывается институциональная рамка.

Без прозрачности, конкуренции, независимого контроля и подотчетности государственная политика неизбежно сталкивается с риском захвата. Патриотическая риторика в этом случае утрачивает свое содержательное значение и начинает выполнять функцию легитимации. Именно поэтому вопрос об экономическом патриотизме в российском контексте не может быть решен на уровне деклараций. Он требует анализа тех институтов, которые определяют, каким образом распределяются ресурсы и формируются стимулы.

В этом смысле российская дискуссия не просто воспроизводит глобальные споры, а концентрирует их в наиболее острой форме. Она показывает, что экономический патриотизм

— это не столько вопрос «за» или «против», сколько вопрос о том, в каких институциональных условиях он реализуется и какие эффекты при этом производит.

2.5. Недостающее звено: от инструментов к институтам

Проведенный анализ выявляет одну принципиальную особенность всей современной литературы об экономическом патриотизме: она чрезвычайно богата на описание инструментов и сравнительно бедна на их нормативное осмысление. Исследователи подробно классифицируют формы государственной поддержки, анализируют эффективность тарифов, субсидий, инвестиционных ограничений, механизмов государственных закупок и контроля над стратегическими активами. Они сопоставляют национальные кейсы, выявляют закономерности, фиксируют успехи и провалы. Однако за этим многообразием эмпирических наблюдений остается в значительной степени неразработанным вопрос, который оказывается решающим: при каких условиях одни и те же инструменты служат общественному благу, а при каких — становятся механизмом частного извлечения выгод?

Это смещение фокуса не является случайным. Оно отражает более широкую тенденцию в экономической науке, ориентированной на анализ результатов, но в меньшей степени — на анализ институциональных оснований, которые эти результаты делают возможными. В отношении экономического патриотизма такая односторонность оказывается особенно проблематичной, поскольку здесь инструменты сами по себе не несут однозначной функциональной нагрузки. Их смысл определяется контекстом, в котором они применяются, и структурой стимулов, в которую они встроены.

Сравнительный анализ, проведенный в предыдущих разделах, позволяет увидеть это с предельной ясностью. Азиатские «государства развития» и латиноамериканские режимы импортозамещения используют во многом сходный набор инструментов: протекционизм, государственные субсидии, поддержка национальных компаний, ограничение внешней конкуренции. Тем не менее результаты оказываются диаметрально противоположными. В одном случае речь идет о быстром промышленном росте, технологическом догоняющем развитии и выходе на глобальные рынки; в другом — о закреплении неэффективности, макроэкономической нестабильности и институциональной деградации.

Такое расхождение невозможно объяснить, оставаясь на уровне самих инструментов. Оно требует перехода к анализу институциональной среды, в которой эти инструменты функционируют. Именно здесь обнаруживается недостающее звено: экономический патриотизм не может быть адекватно понят без учета механизмов, определяющих поведение акторов, принимающих и реализующих соответствующие решения.

В успешных случаях — прежде всего в восточноазиатских экономиках — государственное вмешательство было встроено в систему жестких ограничений и обратной связи. Бюрократия обладала достаточной автономией от частных интересов, чтобы формулировать долгосрочные цели, и одновременно находилась под давлением требований эффективности. Поддержка отраслей носила условный характер: она предоставлялась при выполнении конкретных показателей, прежде всего связанных с экспортной конкурентоспособностью. В результате экономический патриотизм не становился источником ренты, а функционировал как механизм дисциплины, заставляющий экономических агентов адаптироваться к внешним требованиям.

В неудачных случаях — характерных для ряда латиноамериканских стран — аналогичные инструменты оказывались включены в принципиально иную институциональную конфигурацию. Слабость государственных институтов, отсутствие прозрачных процедур, зависимость политических решений от краткосрочных интересов элит создавали условия, при которых государственная поддержка превращалась в ресурс для перераспределения. Экономический патриотизм в такой среде утрачивает свою направленность на развитие и становится формой рентоориентированного поведения. Он начинает обслуживать не коллективные цели, а частные интересы, прикрываемые риторикой национального блага.

Эта дихотомия указывает на необходимость принципиального сдвига в аналитическом подходе. Вопрос об экономическом патриотизме не может быть поставлен как вопрос о выборе инструментов. Он должен быть переформулирован как вопрос о тех институциональных условиях, при которых данные инструменты приобретают определенное содержание. Иначе говоря, необходимо перейти от анализа «что делается» к анализу «в какой системе это делается».

Именно в этой точке становится возможным введение институционально-рентного подхода как недостающего звена в теории экономического патриотизма. Такой подход позволяет рассматривать экономическую политику не только с точки зрения ее формальных целей, но и с точки зрения распределения рент, возникающих в процессе ее реализации. Любое вмешательство государства создает потенциал для перераспределения ресурсов, и ключевым становится вопрос о том, каким образом этот потенциал структурирован: направлен ли он на создание общественного блага или захватывается отдельными группами.

В рамках этого подхода экономический патриотизм предстает как особая форма институциональной организации рентных потоков. Он может функционировать как механизм, направляющий ресурсы в развитие при условии наличия ограничений, обеспечивающих их целевое использование. Но он же может становиться инструментом захвата, если такие ограничения отсутствуют. Различие между «воспитательным протекционизмом» в духе

Листа и рентоориентированным протекционизмом заключается не в наборе мер, а в структуре институтов, определяющих их применение.

Это, в свою очередь, выводит на более общий вопрос — вопрос о природе элит и их роли в экономической политике. Экономический патриотизм предполагает наличие акторов, способных формулировать и реализовывать долгосрочные стратегии. Однако сама возможность такой деятельности зависит от того, в какой мере элиты ориентированы на общественное благо, а не на извлечение частных выгод. Здесь возникает концептуальная необходимость введения категории «элиты служения» как противоположности рентоориентированных элит.

Переход к институционально-рентному анализу позволяет тем самым связать несколько ранее разрозненных уровней. Он объединяет теорию институтов, анализ ренты и проблему мотивации элит в единую рамку, в которой экономический патриотизм может быть рассмотрен не как изолированное явление, а как элемент более широкой социальной структуры. В этой рамке становится возможным ответить на вопросы, которые остаются вне поля зрения инструментального анализа: каким образом формируются стимулы для ответственного использования государственной власти? какие механизмы подотчетности способны ограничить рентоориентированное поведение? при каких условиях патриотическая риторика приобретает реальное содержание, а не остается символической оболочкой?

Ответы на эти вопросы требуют последовательного теоретического и эмпирического анализа, который будет развернут в последующих главах. В них будет предпринята попытка синтеза теории «толстых» институтов, обобщенной категории ренты и концепции «элиты служения» в целостную аналитическую конструкцию, позволяющую по-новому взглянуть на проблему экономического патриотизма и его связь с гражданской солидарностью.

ЧАСТЬ II. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-РЕНТНАЯ МОДЕЛЬ

Глава 3. «Толстые» институты и методологический холизм

Переход от анализа экономического патриотизма как совокупности инструментов к его пониманию как институционального режима требует принципиального изменения аналитической оптики. В предыдущих главах было показано, что сами по себе инструменты — тарифы, субсидии, государственные закупки или ограничения инвестиций — не обладают собственной нормативной направленностью. Они могут служить как развитию, так и стагнации; как укреплению суверенитета, так и его имитации. Это означает, что ключ к пониманию лежит не на уровне инструментов, а на уровне той институциональной среды, в которой они функционируют.

Именно здесь возникает необходимость обращения к более «плотному» — или, в используемой нами терминологии, «толстому» — пониманию институтов. Классическое определение Дугласа Норта, согласно которому институты — это «правила игры», задающие рамки взаимодействия [North, 1990], остается важной отправной точкой. Оно позволяет увидеть, что экономическое поведение не является произвольным, а структурировано системой ограничений и стимулов. Однако для анализа экономического патриотизма этого определения оказывается недостаточно.

Причина этого недостатка заключается в том, что нортовская концепция, при всей своей аналитической силе, склонна к определенной редукции — сведению институтов преимущественно к формализованным ограничениям. Между тем реальное функционирование экономических систем показывает, что формальные правила сами по себе редко определяют поведение. Они действуют лишь постольку, поскольку поддерживаются неформальными практиками и когнитивными структурами, через которые участники интерпретируют происходящее.

3.1. Формальные нормы, неформальные практики, когнитивные рамки

Опыт постсоветских трансформаций дает здесь особенно наглядный материал. В 1990-е годы были приняты законы, формально соответствующие лучшим международным стандартам — о приватизации, защите прав собственности, конкуренции. Однако их функционирование оказалось радикально отличным от ожидаемого. Причина заключалась не в несовершенстве самих норм, а в том, что они были встроены в среду, где доминировали

иные практики и иные представления о допустимом и возможном. Формальные институты оказались «тонкими» — они не были подкреплены соответствующей социальной тканью.

Именно поэтому для анализа экономического патриотизма требуется более широкое понимание институтов, которое предлагает, в частности, Джеффри Ходжсон. Его определение институтов как «устойчивых систем укорененных социальных правил» [Hodgson, 2006] акцентирует их конститутивную функцию: институты не только ограничивают поведение, но и делают возможными сами формы взаимодействия. Экономика не просто регулируется институтами — она ими создается.

Развивая эту линию, мы вводим понятие «толстых» институтов, которое позволяет интегрировать три взаимосвязанных уровня: формальные нормы, неформальные практики и когнитивные рамки. Такое расширение не является чисто терминологическим. Оно отражает принципиальное понимание того, что институциональная реальность не сводится к юридическим текстам.

Формальные нормы — это лишь верхний, наиболее видимый слой. Они задают правила, фиксируют процедуры, определяют санкции. Однако их действие всегда опосредовано практикой. Неформальные практики — это реальные способы применения (или обхода) этих норм, те устойчивые паттерны поведения, которые воспроизводятся независимо от их формального статуса. В одних случаях они поддерживают формальные институты, в других — подрывают их, превращая в фикцию.

Третий слой — когнитивные рамки — оказывается наименее очевидным, но в то же время наиболее глубоким. Речь идет о тех разделяемых представлениях, через которые участники воспринимают институциональную реальность: что считается справедливым, легитимным, нормальным. Эти представления не являются индивидуальными мнениями; они формируются в процессе социализации и закрепляются через образование, медиа, повседневные практики. Именно они определяют, будет ли закон восприниматься как обязательный или как условность, которую можно игнорировать.

Пример с налоговым поведением здесь показателен. Формально налоговые системы могут быть схожими, но в одном обществе уклонение воспринимается как нормальная стратегия, а в другом — как морально неприемлемое поведение. Различие возникает не на уровне закона, а на уровне когнитивной рамки, которая определяет его интерпретацию.

Ключевым становится вопрос о взаимодействии этих слоев. Институты функционируют устойчиво только тогда, когда между ними существует конгруэнтность — взаимное соответствие. Если формальные нормы противоречат укорененным практикам и доминирующим представлениям, возникает институциональная дисфункция. Законы продолжают существо-

вать, но перестают работать как регуляторы поведения. Они либо игнорируются, либо применяются избирательно, становясь инструментом давления и перераспределения.

Институт государственных закупок дает здесь особенно наглядную иллюстрацию. Формально он может быть организован по принципам прозрачности и конкуренции. Однако если реальные практики основаны на аффилированности, а когнитивная рамка элит допускает использование бюджета как ресурса «для своих», формальные нормы превращаются в оболочку. Внешне система сохраняет признаки законности, но фактически функционирует как механизм извлечения ренты.

Именно в этой точке становится понятной ограниченность подходов, основанных на институциональной трансплантации. Перенос «лучших практик» из одной страны в другую предполагает, что формальные нормы автоматически воспроизводят соответствующие эффекты. Однако без изменения неформальных практик и когнитивных рамок такой перенос оказывается поверхностным. Как справедливо отмечала Элинор Остром, институты — это не правила на бумаге, а правила, которыми реально руководствуются люди [Ostrom, 2005].

Для анализа экономического патриотизма это имеет прямое значение. Политика, направленная на укрепление национального производства, перераспределение ресурсов или защиту стратегических отраслей, может быть оформлена в виде вполне рациональных законов и программ. Однако ее реальный эффект будет зависеть от того, в какой институциональной среде она реализуется. При несоответствии между формальными нормами, практиками и когнитивными установками она неизбежно трансформируется — зачастую в направлении, противоположном декларируемым целям.

Это обстоятельство радикально усложняет задачу построения экономической базы гражданского патриотизма. Она не может быть сведена к принятию «правильных» законов или внедрению «эффективных» инструментов. Речь идет о трансформации всей институциональной структуры — от формальных правил до глубинных представлений о справедливости и легитимности.

Именно поэтому дальнейший анализ будет опираться на методологический холизм — подход, рассматривающий экономические явления не изолированно, а в их взаимосвязи с социальными, политическими и когнитивными структурами. Экономический патриотизм в этой перспективе предстает не как частная политика, а как элемент более широкой системы, в которой институты, рента и мотивация элит образуют взаимозависимую конфигурацию.

Только в рамках такой «толстой» аналитики становится возможным ответить на вопрос, который остается неразрешимым в рамках узко инструментального подхода: при каких условиях экономический патриотизм

становится фактором развития, а при каких — превращается в форму институциональной деградации.

3.2. Почему «тонких» институтов недостаточно: уроки трансплантации

Проблема институциональной трансплантации — одна из тех тем, где экономическая теория сталкивается с пределами собственной универсалистской уверенности. На уровне абстракции кажется очевидным: если некий набор институтов доказал свою эффективность в одной стране, его воспроизводство в другой должно привести к сходным результатам. Однако эмпирический опыт последних десятилетий последовательно опровергает эту интуицию. Институты действительно имеют значение — но не в том смысле, в каком это предполагает их механическое копирование.

Крах социалистических систем в Восточной Европе и на постсоветском пространстве создал уникальную историческую ситуацию — масштабный «естественный эксперимент», в рамках которого были предприняты попытки переноса западных институтов в радикально отличную социально-экономическую среду. Речь шла не только о формальных нормах — законах о приватизации, конкуренции, банковской системе, — но и о более фундаментальных институциональных формах: рыночной координации, частной собственности, демократическом управлении. Результаты этого эксперимента оказались не просто неоднородными, но принципиально асимметричными. В одних странах реформы привели к формированию относительно устойчивых рыночных систем, в других — к институциональной фрагментации, росту неформальности и закреплению рентоориентированных практик.

Дани Родрик формулирует здесь ключевой тезис, который можно рассматривать как отправную точку для дальнейшего анализа: институты не являются универсальными «технологиями», которые можно переносить независимо от контекста [Rodrik, 2007]. Они всегда вписаны в конкретную историческую и социальную ткань. Их эффективность определяется не столько внутренней логикой, сколько соответствием этой ткани — ее структуре стимулов, распределению власти, культурным ожиданиям.

Эта идея получает более строгую формализацию в концепции институциональной комплементарности, разработанной Масахико Аоки [Aoki, 2001]. Институты не существуют в изоляции; они образуют взаимосвязанные системы, где каждый элемент поддерживает и усиливает другие. Эффективность одного института зависит от наличия целого набора других — зачастую менее очевидных, но не менее значимых. Право собственности,

например, не может функционировать без независимого суда, эффективного правоприменения, доверия к контрактам и даже определённого уровня социальной легитимности самой идеи собственности.

Отсюда следует принципиально важный вывод: институты не могут быть «перенесены» в полном смысле слова. Переносу поддаются лишь их формальные элементы — законы, процедуры, организационные структуры. Однако именно эти элементы и составляют лишь поверхностный, «тонкий» слой институциональной реальности. Без соответствующих неформальных практик и когнитивных рамок они оказываются лишенными функционального содержания.

Теория институциональных ловушек В.М. Полтеровича позволяет дополнительно прояснить этот механизм [Полтерович, 2001; 2007]. При попытке трансплантации возникает рассогласование между новыми формальными нормами и устоявшимися моделями поведения. Это рассогласование не исчезает автоматически; напротив, оно может закрепляться, формируя устойчивые, но неэффективные равновесия. В таких равновесиях экономические агенты адаптируются к новым правилам не через их соблюдение, а через их обход. Возникает парадоксальная ситуация: формально институт существует, но фактически он не выполняет своей функции.

Российская приватизация 1990-х годов является в этом отношении почти учебным примером. С точки зрения формальной логики реформы выглядели рационально: передача собственности в частные руки должна была создать стимулы для повышения эффективности, привлечения инвестиций и модернизации предприятий. Однако эта логика предполагала наличие целого ряда комплементарных институтов — независимых судов, защиты прав акционеров, прозрачности корпоративного управления. В их отсутствии приватизация стала механизмом перераспределения активов, а не создания эффективной собственности.

Сформировавшееся в результате равновесие оказалось не случайным отклонением, а устойчивой институциональной конфигурацией. Концентрация собственности в руках узкой группы акторов сопровождалась заинтересованностью в сохранении непрозрачности и слабости институтов. Это и есть классическая институциональная ловушка: ситуация, в которой неэффективность воспроизводится, потому что она выгодна ключевым участникам.

Особенно важно, что в данном случае проблема не сводится к ошибкам конкретных реформаторов. Она носит системный характер. Игнорирование принципа институциональной комплементарности означает, что даже правильно сконструированные формальные нормы могут давать противоположные результаты. Это обстоятельство имеет прямое значение для анализа экономического патриотизма. Политики, направленные на поддержку национального производства или перераспределение ресурсов, мо-

гут быть оформлены в виде вполне рациональных законов, но при отсутствии комплементарных институтов они рискуют воспроизводить те же ловушки.

Сравнительный анализ антикоррупционных реформ усиливает это понимание. Сингапур и Гонконг демонстрируют, что радикальное снижение коррупции возможно, но только при наличии целостной институциональной конфигурации. Антикоррупционные агентства в этих странах не были изолированными структурами; они были встроены в систему, включающую политическую волю, высокую оплату труда чиновников, эффективное правосудие и определённый уровень общественной поддержки.

Попытки воспроизвести эту модель в постсоветских странах показали, насколько ограничена эффективность «институционального копирования». Создание аналогичных агентств без соответствующих комплементарных элементов приводило либо к их формальной беспомощности, либо к их превращению в инструменты политической борьбы. В обоих случаях институциональная форма сохранялась, но содержание радикально изменялось.

Этот опыт подводит к более общему выводу, имеющему принципиальное значение для всей дальнейшей теории. Институты нельзя рассматривать как нейтральные инструменты, доступные для произвольного использования. Они являются частью сложных, эволюционно сложившихся систем, где изменение одного элемента неизбежно влияет на все остальные. Попытки «институциональной инженерии», игнорирующие эту взаимосвязанность, неизбежно сталкиваются с эффектами, которые не могут быть предсказаны в рамках «тонкого» подхода.

Для анализа экономического патриотизма это означает следующее. Политика, направленная на защиту национальных интересов, не может быть эффективной, если она ограничивается изменением формальных правил. Необходима трансформация всей институциональной структуры — включая неформальные практики и когнитивные рамки. Без этого экономический патриотизм будет воспроизводить не развитие, а те формы ренто-ориентированного поведения, которые уже укоренены в системе.

В этом смысле уроки трансплантации выходят далеко за пределы конкретных реформ. Они указывают на фундаментальное ограничение универсалистских моделей: экономическая политика не может быть «перенесена» в готовом виде. Она должна быть институционально «встроена» — адаптирована к конкретной структуре стимулов, власти и представлений. Только при этом условии экономический патриотизм может выйти за пределы риторики и стать реальным фактором развития.

3.3. Институциональные ловушки периферийного капитализма

Понятие институциональной ловушки вводит в анализ экономического патриотизма принципиально иной уровень объяснения — уровень, на котором речь идет уже не о частных сбоях или несовершенстве отдельных институтов, а о целостных режимах, воспроизводящих неэффективность. Введённое Виктором Полтеровичем для описания устойчивых, но неэффективных равновесий [Полтерович, 2001], оно позволяет увидеть, что проблема развития в значительной степени заключается не в отсутствии «правильных» решений, а в неспособности системы перейти к ним.

Институциональная ловушка — это не просто плохое состояние, из которого можно выйти при наличии политической воли или технической экспертизы. Это состояние, в котором сами стимулы устроены таким образом, что рациональное поведение отдельных акторов ведёт к воспроизводству коллективно неэффективного результата. Именно поэтому такие ловушки оказываются устойчивыми: они поддерживаются не вопреки интересам участников, а через их повседневные стратегии адаптации.

Коррупция, часто приводимая в качестве иллюстрации, демонстрирует этот механизм лишь в наиболее наглядной форме. Однако в рамках периферийного капитализма мы имеем дело с более сложной и многослойной системой ловушек, которые охватывают не только отдельные практики, но и саму структуру экономических и политических отношений. Эти ловушки формируют особую институциональную среду, в которой экономический патриотизм приобретает специфическое — и зачастую искажённое — содержание.

Первый тип — ловушка ресурсной ренты — задаёт фундаментальную асимметрию всей системы. Там, где значительная часть доходов государства формируется за счёт экспорта природных ресурсов, размывается ключевая связка между налогами и подотчётностью. Государство перестаёт зависеть от граждан как источника дохода и, следовательно, теряет стимулы к институциональному развитию. Власть в такой системе опирается не на общественный договор, а на распределение ренты.

Экономические последствия этой ловушки хорошо известны: деиндустриализация, слабое развитие обрабатывающих отраслей, зависимость от внешней конъюнктуры. Однако не менее важны её институциональные эффекты. Формируется специфический тип государства — рентный, в котором конкуренция разворачивается не за создание стоимости, а за доступ к её перераспределению. В этих условиях экономический патриотизм легко становится частью рентной логики: он используется для обоснования контроля над ресурсами, но не ведёт к их эффективному использованию.

Вторая ловушка — «плохое равновесие» в налогообложении — действует менее заметно, но не менее разрушительно. Она возникает там, где

отсутствует доверие между государством и гражданами. Налогоплательщики не видят связи между своими платежами и качеством публичных благ, а государство, недополучая доходы, не может эту связь создать. Возникает самоподдерживающийся цикл: низкая налоговая дисциплина и низкое качество управления взаимно усиливают друг друга.

В результате разрушается сама возможность формирования гражданского патриотизма в его экономическом измерении. Уплата налогов перестаёт восприниматься как участие в общем деле и превращается в стратегию минимизации потерь. Публичное пространство наполняется риторикой патриотизма, но повседневная практика остаётся глубоко недоверчивой и атомизированной. Эмпирические исследования налоговой морали показывают, что такие равновесия устойчивы именно потому, что они основаны на взаимных ожиданиях: никто не готов изменить своё поведение первым [Torgler, 2007].

Третья ловушка — когнитивный захват — выводит анализ на уровень, который часто остаётся вне поля экономической теории. Здесь речь идёт не о правилах и не о практиках, а о способах их осмысления. Элиты периферийных стран, интегрированные в глобальные интеллектуальные и институциональные сети, нередко усваивают внешние когнитивные рамки как универсальные. Эти рамки задают критерии оценки политики, определяют, что считается «современным» и «эффективным».

Проблема возникает тогда, когда эти критерии начинают применяться вне контекста, в котором они сформировались. Национальные институты оцениваются через призму внешних стандартов, а внутренняя логика развития оказывается вторичной. Возникает ситуация, в которой политика ориентирована не на решение внутренних задач, а на соответствие внешним ожиданиям. Когнитивный суверенитет ослабляется, и экономический патриотизм, вместо того чтобы служить инструментом институционального развития, начинает восприниматься как отклонение от «нормы».

Четвёртая ловушка — элитный захват, включая механизм «вращающихся дверей», — закрепляет эти процессы на уровне распределения власти. Когда границы между государством и бизнесом становятся проницаемыми, а карьеры элит зависят от их способности конвертировать политический капитал в экономический и обратно, формируется устойчивая конфигурация интересов. В этой конфигурации государственная политика перестаёт быть нейтральной и начинает систематически смещаться в пользу тех, кто обладает наибольшим доступом к принятию решений.

Экономический патриотизм в таких условиях приобретает двойственную функцию. С одной стороны, он используется для обоснования вмешательства государства, с другой — служит механизмом перераспределения ресурсов. Его нормативное содержание размывается, и он превращается в

риторический ресурс, позволяющий легитимировать решения, принимаемые в интересах ограниченных групп.

В совокупности эти ловушки образуют устойчивую институциональную конфигурацию, характерную для периферийного капитализма. Она не является случайным набором дисфункций; напротив, она представляет собой внутренне согласованную систему, в которой формальные нормы, неформальные практики и когнитивные рамки взаимно поддерживают друг друга. Именно поэтому выход из неё оказывается столь сложным.

Возникает неизбежный вопрос: возможна ли трансформация такой системы, и если да, то каким образом? Стандартные ответы — через реформы, улучшение законодательства, заимствование «лучших практик» — оказываются недостаточными. Как было показано ранее, формальные институты сами могут быть поглощены существующими ловушками, если не изменяются более глубокие уровни институциональной структуры.

Здесь возникает необходимость в более радикальном аналитическом сдвиге. Выход из институциональных ловушек не может быть осуществлён исключительно через изменение правил. Он требует изменения самих акторов, которые эти правила создают и применяют. Речь идёт об элитах — их мотивации, горизонтах планирования, способах восприятия реальности. Этот тезис подробно развернут в Главе 5. Здесь же зафиксируем методологический принцип, который будет определять всю дальнейшую логику: институты и элиты ко-эволюционируют. Нельзя изменить институты, не меняя элиты, и нельзя трансформировать элиты, не меняя институциональную среду, в которой они действуют. Это взаимосвязанный процесс, требующий комплексного подхода, учитывающего все три слоя «толстых» институтов — формальные нормы, неформальные практики и когнитивные рамки.

Именно в этой коэволюции — а не в изолированных реформах — заключается возможность выхода из ловушек. Экономический патриотизм в этой перспективе перестаёт быть набором инструментов или идеологической позицией. Он становится элементом более широкой трансформации, в рамках которой изменяется сама логика взаимодействия государства, экономики и общества.

3.4. Методологический холизм против методологического индивидуализма

Фундаментальный выбор методологической позиции в социальных науках редко осознаётся как выбор, хотя именно он определяет границы объяснения, тип задаваемых вопросов и характер получаемых ответов. В случае анализа гражданского и экономического патриотизма этот выбор приобретает не просто теоретическое, но и нормативное значение. От того,

рассматриваем ли мы общество как сумму индивидуальных действий или как целостную структуру, обладающую собственной логикой, зависит само понимание того, что такое патриотизм и каким образом он может быть сформирован или трансформирован.

В классической традиции экономической науки доминирует методологический индивидуализм. Его исходная интуиция проста и, на первый взгляд, неоспорима: все социальные явления должны быть объяснены через действия и взаимодействия индивидов. Общество не обладает самостоятельной реальностью — оно лишь агрегат индивидуальных решений. Эта логика последовательно реализуется от Адама Смита до современной неоклассической теории, где экономические процессы интерпретируются как результат рационального выбора, направленного на максимизацию полезности.

Однако именно эта очевидность и составляет его ограничение. Индивидуализм предполагает, что предпочтения, ценности и стратегии действия индивида заданы извне анализа — они принимаются как исходные. В лучшем случае они корректируются через систему стимулов. Но остается вне рассмотрения вопрос о том, откуда берутся сами предпочтения, как формируется структура ожиданий, почему одни модели поведения становятся доминирующими, а другие — невозможными.

Методологический холизм предлагает иную перспективу. Он исходит из того, что социальные целостности — институты, культура, государство, нация — обладают эмерджентными свойствами, не сводимыми к сумме индивидуальных действий. Более того, именно эти целостности формируют рамки, в которых становятся возможными сами индивидуальные действия. Человек не просто действует в обществе; он действует через него — через те институциональные и когнитивные структуры, которые предшествуют его выбору и определяют его смысл.

В философской традиции этот подход связан с Гегелем и Марксом, в социологии — с Дюркгеймом, в экономической науке — с институционализмом и кейнсианством. Современные работы о «разновидностях капитализма» [Hall, Soskice, 2001] развивают эту линию, показывая, что экономическое поведение не является универсальным, а зависит от конкретной институциональной конфигурации. Фирмы, государства и работники действуют по-разному не потому, что обладают разными предпочтениями, а потому, что находятся в разных системах правил, практик и ожиданий.

Для анализа гражданского патриотизма эта методологическая развилка оказывается принципиальной. Если исходить из индивидуалистической логики, патриотизм предстает как совокупность индивидуальных установок — ценностей, убеждений, эмоциональных привязанностей. Тогда задача его формирования сводится к воздействию на эти установки: че-

рез образование, пропаганду, систему стимулов. Однако такой подход неизбежно сталкивается с эмпирическим парадоксом: декларативные ценности могут не совпадать с реальным поведением, а попытки «воспитания» патриотизма оказываются неустойчивыми.

Холистская перспектива позволяет объяснить этот разрыв. Патриотизм — это не просто установка, а форма институционально опосредованной идентичности. Он возникает не в сознании индивида как таковом, а в структуре его взаимодействия с институтами. Готовность доверять государству, платить налоги, участвовать в общественной жизни определяется не абстрактными ценностями, а конкретным опытом взаимодействия с институциональной средой. Если эта среда воспринимается как несправедливая, непрозрачная или захваченная, патриотизм не может быть устойчивым, как бы интенсивно ни воспроизводилась соответствующая риторика.

Поэтому в данной работе методологический холизм принимается в качестве базовой аналитической установки. Это означает, что поведение акторов выводится из институциональных и элитных структур, а не наоборот. Мы не задаёмся вопросом о том, какие ценности «должны» быть у граждан. Мы исследуем, какая институциональная конфигурация делает возможным существование этих ценностей как устойчивых практик.

В этом контексте институты и элиты рассматриваются как относительно автономные структуры, обладающие собственной логикой воспроизводства. Они не являются простой суммой индивидуальных действий; напротив, они задают рамки, в которых эти действия приобретают смысл. Именно поэтому изменения в обществе не могут быть сведены к изменению отдельных стимулов. Они требуют трансформации самой структуры, включая все три слоя «толстых» институтов — формальные нормы, неформальные практики и когнитивные рамки.

В то же время чистый холизм сталкивается с собственными ограничениями. Он рискует впасть в детерминизм, в котором индивид оказывается полностью подчинён структурам. Такая позиция приводит к реификации институтов — их восприятию как самостоятельных сущностей, существующих независимо от действий людей. Это, в свою очередь, делает непонятным сам механизм изменений: если структуры всеопределяющи, откуда берется возможность их трансформации?

Поэтому в рамках данной работы предлагается не отказ от холизма, а его уточнение через введение принципа коэволюции. Институты и элиты не существуют независимо друг от друга; они взаимно формируют и воспроизводят друг друга. Институты задают стимулы и ограничения для элит, а элиты, в свою очередь, формируют и изменяют институты через свои решения и практики.

Этот тезис подробно развернут в Главе 5. Здесь же зафиксируем методологический принцип, который будет определять всю дальнейшую логику:

институты и элиты ко-эволюционируют. Нельзя изменить институты, не меняя элиты, и нельзя трансформировать элиты, не меняя институциональную среду, в которой они действуют. Это взаимосвязанный процесс, требующий комплексного подхода, учитывающего все три слоя «толстых» институтов — формальные нормы, неформальные практики и когнитивные рамки.

Именно этот принцип позволяет преодолеть ограниченность как индивидуализма, так и «жёсткого» холизма. Он вводит динамическое измерение, в котором структуры и действия рассматриваются не как противоположности, а как взаимосвязанные элементы единого процесса. Изменение становится возможным не через внешнее вмешательство, а через внутреннюю трансформацию системы стимулов и представлений.

Сопоставление данной позиции с марксистским и либеральным подходами позволяет уточнить её специфику. Марксизм, несмотря на свою холистскую природу, склонен к редукции социальных процессов к экономическому базису. В нём институты и идеи оказываются производными от структуры производства. В нашей рамке, напротив, подчеркивается относительная автономия институциональных и когнитивных факторов. Экономика не диктует однозначно структуру общества; она взаимодействует с ней в сложной системе взаимных влияний.

Либеральный подход, в свою очередь, недооценивает эту сложность, исходя из предположения, что достаточно установить «правильные» формальные нормы, и они будут работать. Однако анализ «толстых» институтов показывает, что формальные нормы — лишь один из уровней. Без соответствующих практик и когнитивных рамок они могут не просто не работать, но и воспроизводить противоположные эффекты.

Таким образом, предлагаемая методологическая позиция может быть охарактеризована как критический институциональный холизм. Он исходит из структурирующей роли институтов и элит, признает их взаимную коэволюцию и одновременно сохраняет пространство для агентности и изменений. Именно эта перспектива позволяет перейти от описания экономического патриотизма как набора инструментов к его пониманию как сложного институционального феномена, укоренённого в глубинной структуре общества.

3.5. Выводы для построения модели

Предшествующий анализ — от уточнения понятия «толстых» институтов до реконструкции институциональных ловушек и обоснования методологического холизма — позволяет перейти к формулированию тех принципов, которые будут положены в основание дальнейшей теоретической конструкции. Речь идет не о механическом суммировании сделанных

наблюдений, а о выделении тех опорных положений, без которых институционально-рентная модель утрачивает свою объяснительную силу.

Прежде всего, становится очевидным, что институты не могут более мыслиться как набор формальных правил, существующих в юридическом пространстве. Их реальность — и, следовательно, их аналитическая значимость — раскрывается только в их «толстом» измерении, включающем формальные нормы, неформальные практики и когнитивные рамки. Именно согласованность этих трех слоев делает институты действенными. Там, где закон не подкреплен практикой или противоречит доминирующим представлениям о справедливом и допустимом, он утрачивает регулятивную функцию и превращается либо в декларацию, либо в инструмент избирательного применения. В этом смысле институциональная реформа, ограниченная изменением нормативной базы, неизбежно сталкивается с эффектом «пустой оболочки»: формальные изменения происходят, но поведенческие паттерны остаются прежними, а иногда и усиливаются в направлении обхода новых правил.

Данный вывод приобретает особую значимость в контексте периферийного капитализма, который, как было показано, характеризуется не столько дефицитом институтов, сколько их специфической конфигурацией. Здесь формальные нормы часто сосуществуют с неформальными практиками, которые их подрывают, а когнитивные рамки закрепляют это рассогласование как норму. В результате формируется система институциональных ловушек — устойчивых, но неэффективных равновесий, в которых экономические агенты, действуя рационально в краткосрочной перспективе, воспроизводят коллективно невыгодное состояние. Ключевые ловушки — ресурсная рента, «плохое равновесие» в налогообложении, когнитивный захват, механизмы «вращающихся дверей» — образуют не изолированные феномены, а взаимосвязанную систему, в которой каждая поддерживает и усиливает другие. Именно эта системность объясняет их устойчивость и сложность преодоления.

Отсюда вытекает следующий принципиальный вывод: выход из институциональных ловушек не может быть достигнут посредством точечных реформ или изменения отдельных параметров политики. Он требует трансформации самих акторов, определяющих функционирование системы, — прежде всего элит. Элиты выступают не просто участниками, но архитекторами институциональной среды: они формируют правила, определяют практики их применения и во многом задают когнитивные рамки, через которые интерпретируется социальная реальность. Однако сами элиты не являются внешними по отношению к институтам. Они формируются внутри существующей структуры стимулов и воспроизводят ее, если она обеспечивает им доступ к ресурсам.

Именно здесь становится центральным принцип коэволюции институтов и элит, ранее обозначенный как методологическая опора всей модели. Институты и элиты не могут быть изменены изолированно. Попытка реформировать институты без изменения мотивационной структуры элит приводит к их адаптации и захвату. Попытка трансформировать элиты без изменения институциональной среды делает такую трансформацию неустойчивой, поскольку новые акторы оказываются встроены в старую систему стимулов. Следовательно, речь должна идти о согласованном изменении всей конфигурации — формальных норм, неформальных практик и когнитивных рамок, — в рамках которой происходит постепенное смещение от рентоориентированной логики к логике служения.

Методологический холизм, принятый в данной работе, позволяет удержать эту сложность. Он фиксирует, что гражданский патриотизм не может быть редуцирован к индивидуальным установкам или моральным качествам. Он укоренен в институциональной структуре общества и зависит от того, каким образом организовано взаимодействие между государством, бизнесом и гражданами. Вместе с тем холистская перспектива дополняется признанием роли индивидуальной и коллективной агентности, особенно в периоды кризисов, когда существующие равновесия становятся нестабильными и открывается пространство для трансформации. Именно в этих точках возможен переход от воспроизводства ловушек к их преодолению.

В совокупности эти положения формируют методологический каркас институционально-рентной модели. Они задают рамку, в которой экономический патриотизм может быть проанализирован не как набор инструментов или идеологических установок, а как функция определенной институциональной конфигурации. Это позволяет перейти к следующему шагу — к анализу ренты как центральной категории, связывающей институциональную структуру с поведением элит и динамикой экономического развития.

В следующей главе будет предпринята попытка развернуть это понятие в обобщенном виде. Будет показано, каким образом различные формы ренты структурируют экономические отношения, как они влияют на поведение акторов и каким образом через них можно описать механизмы формирования и трансформации элит. Именно через категорию ренты станет возможным соединить институциональный анализ с проблематикой гражданского патриотизма, выявив те условия, при которых он приобретает не декларативный, а реальный социальный смысл.

Глава 4. Рента как структурная категория периферийного капитализма

В предыдущей главе был сформирован теоретический фундамент институционально-рентной модели — через концепцию «толстых» институтов, анализ институциональных ловушек и обоснование методологического холизма. Однако сама эта конструкция оставалась в определённой степени «пустой» без центральной экономической категории, способной связать институциональную структуру с реальными распределительными процессами. Такой категорией становится рента.

В традиционной экономической теории рента долгое время сохраняла относительно узкое значение. Она ассоциировалась прежде всего с доходом от земли или других природных ресурсов, то есть с теми факторами производства, которые не воспроизводятся и обладают естественной ограниченностью. Подобное понимание, хотя и сохраняет аналитическую ценность, оказывается недостаточным для объяснения современной экономической динамики, особенно в контексте периферийного капитализма, где ключевые деформации связаны не столько с природной редкостью, сколько с институционально созданными ограничениями.

В данной работе предлагается обобщённая трактовка ренты как дохода, возникающего в результате контроля над институционально закреплённой ограниченной позицией или ресурсом, а не в результате производительной инновации или принятия риска в условиях конкурентного рынка. Это определение позволяет перенести анализ с поверхности экономических явлений на их структурный уровень, где становится возможным выявить устойчивые механизмы перераспределения и их связь с институциональной и элитной конфигурацией общества.

4.1. От классической ренты к обобщенной категории

Понятие ренты имеет глубокие исторические корни, и его развитие отражает эволюцию самой экономической мысли. В классической политической экономии рента выступала как особый вид дохода, не связанный непосредственно с производственным вкладом собственника. Уже у Давида Рикардо она получает строгое теоретическое оформление в виде дифференциальной ренты, возникающей из различий в плодородии и местоположении земельных участков. Важно подчеркнуть, что для Рикардо рента не является причиной высокой цены, а, напротив, её следствием: она возникает там, где цена определяется условиями производства на предельных участках, а более благоприятные позиции дают избыточный доход [Ricardo, 1817].

Эта логика содержит принципиально важную интуицию: рента связана не с усилием, а с позицией. Владение более выгодным ресурсом или доступ к более благоприятному положению в системе распределения автоматически генерирует доход, не требующий пропорционального производственного вклада. Карл Маркс, развивая этот анализ, расширяет его, вводя различие между дифференциальной и абсолютной рентой и связывая ренту с более общей проблемой присвоения прибавочной стоимости. В его интерпретации рента становится выражением монопольного контроля, который препятствует свободному переливу капитала и закрепляет неравенство в распределении доходов [Маркс, 1894].

Классическая традиция тем самым фиксирует ключевой момент: рента — это доход, возникающий из структурного преимущества, закреплённого в системе. Однако в рамках этой традиции анализ остаётся привязанным к специфическому фактору — земле. Универсализация этого понятия требует выхода за пределы аграрной проблематики и переноса акцента на более общий механизм — контроль над ограничениями.

Неоклассическая теория в значительной степени ослабляет критический потенциал понятия ренты, редуцируя его к техническому элементу анализа — излишку производителя. В такой интерпретации рента теряет связь с вопросами власти, институтов и распределения, превращаясь в производную от рыночного равновесия. Однако уже во второй половине XX века происходит возвращение к более содержательному пониманию ренты в рамках теории рентоориентированного поведения. Работы Гордона Таллока и Энн Крюгер демонстрируют, что значительная часть экономической активности может быть направлена не на создание стоимости, а на её перераспределение через доступ к привилегиям [Tullock, 1967; Krueger, 1974].

Особенно важным становится наблюдение, что рентоориентированная деятельность требует ресурсов — времени, усилий, капитала, — которые могли бы быть использованы продуктивно. Экономика, в которой борьба за ренту становится системной, неизбежно сталкивается с потерями эффективности и замедлением роста. При этом сама структура стимулов может быть устроена так, что именно рентоориентированное поведение оказывается рациональным выбором.

Тем не менее теория rent-seeking остаётся ограниченной рамками индивидуалистической методологии. Она объясняет стремление к ренте через рациональный выбор, но не отвечает на вопрос, почему в одних обществах рента становится доминирующей формой дохода, а в других — маргинальной. Ответ на этот вопрос требует перехода к институциональному уровню анализа.

Обобщённая категория ренты, вводимая в данной работе, позволяет осуществить этот переход. Рента понимается как результат контроля над институционально закреплённым ограничением — будь то доступ к рынку,

к государственным ресурсам, к административным решениям или к символическому капиталу. Ограниченность здесь не является естественной; она создаётся и поддерживается через систему формальных норм, неформальных практик и когнитивных рамок.

Это уточнение имеет принципиальные последствия. Оно означает, что источником ренты может быть практически любая позиция в институциональной структуре, если она обеспечивает асимметричный доступ к ресурсам или возможностям. Монопольная лицензия, административный пост, контроль над информацией, доступ к бюджетным потокам — всё это потенциальные источники ренты. В каждом случае решающим оказывается не физическое обладание ресурсом, а возможность регулировать доступ к нему.

Отсюда вытекает и различие между рентой и другими видами дохода. Прибыль в конкурентной экономике носит временный характер и зависит от способности к инновации и эффективности. Она подвержена эрозии под давлением конкуренции. Рента, напротив, устойчива, поскольку защищена институциональными барьерами. Она не требует постоянного подтверждения через производительность; достаточно сохранять контроль над позицией.

Заработная плата связана с трудовым вкладом и отражает, пусть и несовершенно, производительность работника. Процент связан с предоставлением капитала и компенсацией за риск и временное предпочтение. Рента не имеет такой связи: она возникает независимо от текущего вклада в производство. Это не означает, что её извлечение не требует усилий — напротив, поддержание рентных позиций может требовать значительных ресурсов, — но эти усилия направлены не на создание новой стоимости, а на сохранение контроля.

Особое внимание требует разграничение ренты и коррупции. Коррупция представляет собой частный случай извлечения ренты, связанный с нарушением формальных норм. Однако рента может существовать и в полностью легальной форме — через лицензии, субсидии, тарифные барьеры, институционально закреплённые преимущества. Это различие принципиально, поскольку оно показывает, что проблема ренты не сводится к нарушению правил; она может быть встроена в сами правила.

При этом рента не должна автоматически интерпретироваться как негативное явление. В определённых условиях она может выполнять функциональную роль. Временные монополии, стимулирующие инновации, или защитные меры, направленные на развитие новых отраслей, создают ренту, но делают это в целях долгосрочного развития. Ключевым становится не сам факт существования ренты, а её характер — временный или постоянный, подотчётный или замкнутый, стимулирующий или блокирующий.

В условиях периферийного капитализма рента приобретает системный характер. Она перестаёт быть исключением и становится основой экономической структуры. Значительная часть доходов формируется не через

конкурентное производство, а через доступ к институционально закреплённым позициям. Это радикально меняет логику поведения акторов: успех определяется не способностью создавать стоимость, а способностью занять и удержать выгодную позицию.

Именно в этой точке рента связывает институциональный анализ с проблематикой элит. Элиты выступают как носители контроля над ключевыми позициями и, следовательно, как главные бенефициары рентной структуры. Их интересы оказываются тесно связаны с сохранением существующих ограничений, что делает трансформацию системы особенно сложной. Экономический патриотизм в такой конфигурации может либо служить инструментом перераспределения ренты, либо — при определённых условиях — стать механизмом её преобразования в развитие.

Эта двойственность делает анализ ренты центральным элементом всей модели. Через него становится возможным перейти от описания институтов к анализу конкретных механизмов распределения, от формальных правил — к реальным потокам доходов, от абстрактных принципов — к структуре интересов. Именно на этой основе будет построена дальнейшая типология рент и их связь с различными режимами экономического патриотизма.

4.2. Типология рент в периферийном капитализме

Обобщённое понимание ренты как дохода, возникающего из контроля над институционально закреплёнными ограничениями, открывает возможность перейти от абстрактного определения к конкретной структуре. Рента перестаёт быть единичным феноменом и раскрывается как система различных форм, каждая из которых укоренена в специфических институциональных механизмах и выполняет особую роль в воспроизводстве периферийного капитализма. Речь идёт не о классификации ради самой классификации, а о попытке выявить те каналы, через которые институциональная структура превращается в реальные потоки доходов и, следовательно, в интересы элит и модели поведения общества.

Наиболее очевидной и исторически первой формой выступает природная, или ресурсная, рента. Она возникает из контроля над месторождениями полезных ископаемых и другими природными ресурсами, доступ к которым ограничен не только физически, но и институционально — через лицензии, права собственности, инфраструктурные барьеры. В условиях периферийного капитализма эта форма ренты приобретает доминирующее значение, поскольку позволяет генерировать значительные доходы независимо от качества институтов и уровня технологического развития. Именно здесь возникает парадокс, известный как «ресурсное проклятие»: наличие богатых ресурсов не ведёт к развитию, а, напротив, закрепляет институциональную слабость.

Экономика, основанная на ресурсной ренте, структурируется вокруг распределения этих доходов. Государство превращается в центрального распределителя, а политическая конкуренция — в борьбу за доступ к этому распределению. В результате размывается связь между налогообложением и подотчётностью, что подрывает саму основу современного государства. Гражданский патриотизм в такой системе приобретает специфическую форму: лояльность становится функцией распределения благ, а не участия в общем деле. Когда же ресурсная рента сокращается, обнаруживается хрупкость этой конструкции — за ней не стоит устойчивая институциональная основа.

Не менее значимой является регуляторная рента, возникающая из контроля над доступом к экономической деятельности. В отличие от ресурсной, она не опирается на природную ограниченность, а создаётся непосредственно через институты — лицензии, разрешения, квоты, стандарты. Именно эта форма ренты наиболее тесно связана с повседневным функционированием государства, поскольку она пронизывает практически все сферы экономической жизни. В условиях высокой административной дискреции и слабости правоприменения регуляторная рента становится массовой, формируя особую логику экономики — экономику доступа.

В такой системе успех определяется не столько эффективностью или инновационностью, сколько способностью получить разрешение, обойти барьеры или встроиться в сеть неформальных отношений. Возникает структурное разделение между «своими» и «чужими», где первые обладают доступом к ресурсам, а вторые вынуждены либо адаптироваться, либо вытесняются с рынка. Эта логика разрушает базовые основания гражданского патриотизма, поскольку подрывает представление о равенстве возможностей и справедливости правил.

Бюджетная рента представляет собой следующий уровень институциональной структуры, где объектом контроля становится уже не доступ к рынкам, а распределение государственных ресурсов. Государственный бюджет — через систему закупок, субсидий, налоговых льгот и инвестиций — превращается в мощный источник ренты. В периферийных экономиках, где роль государства в распределении ресурсов высока, эта форма ренты приобретает системообразующий характер.

Ключевая проблема здесь заключается не в самом факте перераспределения, а в способах его организации. При отсутствии прозрачности и конкуренции бюджетные механизмы начинают функционировать как каналы направленного распределения в пользу аффилированных акторов. Это ведёт к двойному эффекту: с одной стороны, ресурсы используются неэффективно, с другой — подрывается доверие граждан к государству. Налоги перестают восприниматься как вклад в общественное благо и начинают рас-

сматриваться как источник ренты для ограниченного круга лиц. В этом контексте «плохое равновесие» в налогообложении, описанное ранее, получает конкретное институциональное наполнение.

Политическая рента занимает особое место, поскольку она выступает мета-формой, обеспечивающей доступ ко всем остальным. Обладание политической властью открывает возможности для влияния на распределение ресурсов, регулирование рынков и формирование правил. В условиях слабой конкуренции и ограниченной подотчётности политическая рента становится устойчивой и воспроизводимой, формируя замкнутые элитные структуры.

Здесь происходит качественный сдвиг: рента перестаёт быть просто экономическим явлением и становится элементом политической системы. Государство теряет характер res publica — общего дела — и превращается в ресурс, контролируемый узкой группой. В такой конфигурации патриотическая риторика неизбежно девальвируется, поскольку она расходится с реальным опытом граждан. Возникает разрыв между официальным дискурсом и повседневным восприятием государства, что ведёт либо к цинизму, либо к радикализации.

Наиболее сложной и одновременно наиболее современной формой является когнитивная рента, связанная с контролем над знанием, информацией и смыслами. В условиях цифровой экономики именно этот уровень начинает играть определяющую роль. Контроль над платформами, данными, алгоритмами и экспертными интерпретациями позволяет извлекать доходы, которые не связаны напрямую с производством, но оказывают решающее влияние на него.

Когнитивная рента проявляется в различных формах — от монополии цифровых платформ до власти рейтинговых систем и научных стандартов. Она формирует особое пространство, в котором определяются критерии эффективности, качества и легитимности. В условиях глобализации это пространство оказывается асимметричным: центры производства знания задают правила, которым вынуждены следовать периферийные акторы.

Особое значение приобретает феномен ИИ-ренты. Развитие искусственного интеллекта создаёт новую форму концентрации когнитивной власти, где доступ к алгоритмам, данным и вычислительным ресурсам становится источником структурного преимущества. Страны и компании, контролирующие эти ресурсы, получают возможность не только извлекать доход, но и формировать сами правила игры — включая интерпретацию реальности и принятие решений.

Когнитивная рента напрямую связана с феноменом когнитивного захвата. Элиты периферийных стран, ориентированные на внешние стандарты и встроенные в глобальные интеллектуальные сети, начинают воспроизводить чужие когнитивные рамки. Это ведёт к тому, что политика формируется не из внутренних потребностей, а из внешних представлений

о «правильном». Возникает глубокий разрыв между институциональной формой и социальным содержанием, который подрывает возможность формирования устойчивого гражданского патриотизма.

Совокупность рассмотренных форм показывает, что рента в периферийном капитализме не является частным явлением. Она образует сложную, многоуровневую систему, в которой различные виды ренты взаимосвязаны и взаимно усиливают друг друга. Ресурсная рента подпитывает политическую, политическая — регуляторную и бюджетную, а когнитивная задаёт рамки, в которых всё это воспринимается как нормальное или неизбежное. Именно эта системность делает ренту центральной категорией дальнейшего анализа.

Через неё становится возможным проследить, каким образом институциональная структура трансформируется в устойчивые модели поведения, как формируются интересы элит и почему гражданский патриотизм в одних условиях становится устойчивой практикой, а в других — размывается или вырождается.

4.3. Рента доверия и рента легитимности: позитивные концепты

До настоящего момента рента рассматривалась преимущественно в негативной перспективе — как механизм перераспределения, подрывающий эффективность, закрепляющий институциональные ловушки и размывающий экономическую основу гражданского патриотизма. Однако обобщённая трактовка ренты позволяет выйти за пределы этой односторонней интерпретации. Она открывает возможность рассматривать ренту не только как форму паразитарного присвоения, но и как особый тип структурного преимущества, который при определённых условиях способен работать на развитие, снижая издержки координации и укрепляя социальную солидарность.

В этом контексте особое значение приобретают два взаимосвязанных феномена — рента доверия и рента легитимности. Оба они представляют собой нематериальные, но вполне реальные ресурсы, возникающие в рамках институциональной структуры и оказывающие прямое влияние на экономическое поведение, политическую устойчивость и возможность формирования гражданского патриотизма.

Рента доверия может быть определена как совокупный экономический выигрыш, который общество получает благодаря высокому уровню межличностного и институционального доверия. Речь идёт не о субъективном чувстве, а о структурной характеристике, которая проявляется в конкретных экономических эффектах. Классические исследования Роберта Патнэма показали, что различия в уровне доверия и гражданской вовлечён-

ности способны объяснять устойчивые различия в эффективности институтов даже при формально одинаковых правилах [Putnam, 1993]. Фрэнсис Фукуяма, развивая эту линию, продемонстрировал, что доверие снижает издержки координации и позволяет формировать более сложные формы экономической организации [Fukuyama, 1995].

Использование категории «ренты» в данном случае позволяет подчеркнуть, что доверие создаёт своего рода устойчивую «премию», распределённую по всей экономике. Эта премия реализуется через ряд ключевых каналов.

1. Низкие трансакционные издержки. В условиях высокого доверия экономические взаимодействия требуют значительно меньших затрат на контроль, страхование и юридическое оформление. Снижается необходимость в сложных контрактах, уменьшается роль судебных споров, а репутационные механизмы начинают выполнять функцию неформального регулирования. В результате высвобождаются ресурсы, которые могут быть направлены на производственную деятельность, инновации и расширение рынков.
2. Долгосрочные инвестиции. Доверие к институтам — прежде всего к защите прав собственности, стабильности правил и независимости судов — формирует предсказуемую среду, в которой экономические агенты готовы действовать с длительным горизонтом. Это касается не только капитальных вложений, но и инвестиций в человеческий капитал, образование и технологии. В условиях недоверия доминирует краткосрочная логика, при которой будущее дисконтируется, а сложные проекты оказываются слишком рискованными.
3. Макроэкономическая устойчивость. Доверие к государству и его институтам, особенно к денежно-кредитной политике, снижает склонность к паническим реакциям и облегчает управление инфляционными ожиданиями. Граждане и бизнес охотнее используют национальную валюту как средство накопления, что стабилизирует финансовую систему и снижает зависимость от внешних факторов.
4. Добровольный налоговый комплаенс. Исследования налоговой морали убедительно показывают, что готовность платить налоги определяется не только уровнем контроля, но и доверием к государству [Torgler, 2007]. Там, где граждане воспринимают налоговую систему как справедливую, а государственные расходы — как оправданные, уровень добровольного соблюдения значительно выше. Это позволяет государству функционировать без чрезмерного давления и снижает административные издержки.

Рента доверия неразрывно связана с гражданским патриотизмом. Она выступает одновременно его условием и его следствием. Доверие к институтам формирует готовность участвовать в общественной жизни, поддерживать коллективные проекты и идентифицировать себя с политическим сообществом. В свою очередь, активное гражданское участие и подотчёт-

ность элит усиливают доверие. Возникает кумулятивная динамика, в которой доверие и патриотизм взаимно усиливают друг друга, формируя устойчивую институциональную основу.

Параллельно действует рента легитимности, которая относится уже не к повседневным взаимодействиям, а к восприятию политической системы в целом. Её можно определить как способность государства проводить решения, включая непопулярные, без разрушения социальной устойчивости благодаря признанию гражданами справедливости институционального порядка.

Теоретически это понятие восходит к Максу Веберу, однако в современной интерпретации оно приобретает более операциональный характер. Легитимность рассматривается как ресурс, который может накапливаться и расходоваться. Государство, обладающее высоким уровнем легитимности, получает возможность проводить структурные реформы, перераспределять издержки и изменять правила игры без угрозы дестабилизации. В противоположной ситуации даже незначительные изменения могут вызывать непропорционально сильное сопротивление.

Механизмы накопления ренты легитимности также носят системный характер и проявляются через ряд ключевых каналов.

1. Справедливые и прозрачные процедуры. Восприятие справедливости часто определяется не результатом, а процессом. Когда решения принимаются в рамках понятных и предсказуемых процедур, даже проигравшие стороны склонны признавать их легитимность. Это особенно важно для судебной системы, налоговой политики и распределительных решений.

2. Подотчётность элит. Демонстрация ответственности за принятые решения и реальная возможность санкций за злоупотребления создают ощущение, что система не является инструментом одностороннего извлечения выгоды. Безнаказанность, напротив, быстро разрушает легитимность, поскольку делает очевидным асимметричный характер правил.

3. Справедливое распределение издержек. Реформы, в которых издержки концентрируются на уязвимых группах, а выгоды достаются узкому кругу акторов, воспринимаются как несправедливые и подрывают легитимность. Обратная ситуация — когда бремя распределяется относительно равномерно, а элиты демонстрируют готовность к самоограничению — усиливает доверие к системе.

4. Способность решать общенациональные задачи. Успешное преодоление кризисов, реализация крупных проектов или обеспечение безопасности формируют ощущение коллективного успеха. Это укрепляет легитимность, однако носит кумулятивный и в то же время обратимый характер: серия неудач способна быстро нивелировать ранее накопленный ресурс.

Рента легитимности по сути представляет собой институционализированную форму гражданского патриотизма. Она выражается в готовности граждан поддерживать систему не только в условиях роста, но и в периоды

напряжения, когда требуются жертвы и перераспределение. Эта готовность основана на убеждении, что система в целом справедлива и действует в интересах общества.

Рента доверия и рента легитимности образуют тесно связанную структуру. Доверие облегчает признание легитимности, снижая уровень подозрения и усиливая готовность принимать коллективные решения. Легитимность, в свою очередь, создаёт условия для воспроизводства доверия, поскольку обеспечивает предсказуемость и справедливость институциональной среды. Их взаимодействие формирует фундамент устойчивого социального порядка.

В условиях периферийного капитализма этот фундамент оказывается особенно уязвимым. Элиты, ориентированные на извлечение краткосрочных материальных рент — ресурсной, регуляторной, бюджетной, — систематически подрывают доверие и легитимность, превращая их в расходуемый ресурс. Каждое несправедливое решение, каждая непрозрачная процедура, каждое проявление безнаказанности ускоряют этот процесс.

Возникает замкнутая динамика: снижение доверия и легитимности ограничивает способность государства проводить эффективную политику; неэффективная политика усиливает экономические проблемы; это стимулирует ещё более агрессивное извлечение ренты; в результате доверие и легитимность продолжают разрушаться. В такой конфигурации гражданский патриотизм теряет институциональную опору и либо редуцируется до декларативной риторики, либо принимает реактивные формы.

В этом смысле рента доверия и рента легитимности выступают не просто дополнительными категориями, а центральным элементом всей модели. Именно через них становится возможным понять, при каких условиях экономический патриотизм перестаёт быть инструментом перераспределения и превращается в устойчивую форму гражданской солидарности.

4.4. Связь рентной структуры с гражданским патриотизмом

Завершая анализ ренты как структурной категории, необходимо зафиксировать не просто отдельные наблюдения, а их внутреннюю логику — ту конфигурацию связей, которая позволяет понять, каким образом рентная структура экономики формирует или, напротив, подрывает экономическую базу гражданского патриотизма. Речь идёт о переходе от описания форм ренты к выявлению их системного воздействия на общество, государство и характер гражданской солидарности.

1. Обобщённая категория ренты позволяет выйти за пределы узкого понимания «рыночных несовершенств» и зафиксировать ренту как фундаментальную характеристику определённого типа экономического порядка. В периферийном капитализме рента не является отклонением от нормы —

она становится нормой. Контроль над институционально закреплёнными ограничениями, будь то доступ к ресурсам, административным решениям или информационным потокам, превращается в главный источник дохода и власти. В такой системе экономическая деятельность структурируется не вокруг создания стоимости, а вокруг распределения и перераспределения уже существующих потоков. Это означает, что сама логика успеха меняется: важнейшим становится не эффективность, а позиция, не инновация, а доступ, не конкуренция, а контроль.

2. Различные формы ренты образуют взаимосвязанную иерархию, в которой каждая усиливает и воспроизводит другие. Природная рента обеспечивает первичный ресурс, который становится объектом перераспределения; политическая рента определяет, кто именно получает контроль над этим ресурсом; бюджетная рента позволяет перераспределять его через государственные механизмы; регуляторная рента закрепляет барьеры входа и ограничивает конкуренцию; когнитивная рента формирует интерпретационные рамки, в которых вся эта система воспринимается как допустимая, неизбежная или даже рациональная. Эта взаимосвязь делает рентную структуру устойчивой: изменение одного элемента без трансформации других редко приводит к системным сдвигам. Особенно важно, что когнитивный уровень не просто сопровождает, но легитимирует рентные отношения, превращая их из временного искажения в устойчивую норму.

3. Систематическое извлечение «коротких» материальных рент элитами оказывает прямое разрушительное воздействие на экономическую базу гражданского патриотизма. Прежде всего, разрушается фискальный контракт: граждане перестают воспринимать налоги как вклад в общее благо, поскольку не видят связи между своими платежами и получаемыми общественными благами. Налог превращается из элемента взаимных обязательств в форму принудительного изъятия. Параллельно формируется «экономика для своих», в которой доступ к возможностям определяется не универсальными правилами, а принадлежностью к определённым сетям. Это подрывает принцип равенства, являющийся одной из основ гражданской солидарности. В таких условиях честное поведение становится невыгодным, а уклонение — рациональным, что ведёт к деморализации и постепенному разрушению норм. Доверие к институтам снижается, а вместе с ним исчезает готовность к участию в коллективных действиях. Гражданский патриотизм в подобной среде либо редуцируется до символических форм, не имеющих институционального содержания, либо трансформируется в протестные и отчуждённые формы.

4. На этом фоне особое значение приобретают позитивные формы ренты — рента доверия и рента легитимности, которые были рассмотрены ранее. Они представляют собой не побочные эффекты, а необходимые ресурсы, без которых невозможно устойчивое развитие и воспроизводство

гражданского патриотизма. Рента доверия снижает трансакционные издержки, расширяет горизонт планирования и делает возможной кооперацию вне жёсткого контроля. Рента легитимности обеспечивает способность государства проводить политику, включая непопулярные решения, без разрушения социальной стабильности. Однако в условиях доминирования материальных рент эти ресурсы оказываются под постоянным давлением. Элиты, ориентированные на извлечение краткосрочных выгод, фактически «проедают» накопленный запас доверия и легитимности, не инвестируя в его воспроизводство. В результате общество теряет способность к координации, а государство — к эффективному управлению.

5. Особую остроту в современной ситуации приобретает когнитивная рента, включая её новейшую форму — ИИ-ренту. Контроль над производством и распространением знания, над информационными потоками и алгоритмами обработки данных становится самостоятельным источником структурного преимущества. В цифровую эпоху это означает не только экономическое, но и символическое доминирование: формируются рамки восприятия реальности, определяются критерии рациональности, задаются параметры допустимого дискурса. Для периферийных обществ это создаёт дополнительный уровень зависимости, поскольку значительная часть когнитивной инфраструктуры находится вне их контроля. Утрата когнитивного суверенитета ведёт к тому, что даже внутренние решения начинают приниматься в логике внешних интерпретаций. В таких условиях гражданский патриотизм оказывается лишённым интеллектуальной автономии и рискует превратиться либо в реактивную защитную идеологию, либо в пустую декларацию.

Совокупность этих положений позволяет увидеть рентную структуру не как один из факторов, а как фундаментальную основу, определяющую возможности и пределы формирования гражданского патриотизма. Экономический патриотизм в такой перспективе перестаёт быть вопросом выбора инструментов или политической риторики. Он становится функцией того, каким образом организовано распределение рент, какие формы ренты доминируют и каким образом они связаны с институциональной и когнитивной структурой общества.

Дальнейший анализ требует перехода к уровню акторов, через которых эта структура воспроизводится и трансформируется. В следующей главе будет рассмотрена роль элит как ключевых носителей и перераспределителей ренты. Особое внимание будет уделено различию между «рентной элитой» и «элитой служения», а также условиям, при которых возможен переход от первой ко второй как институциональной основе гражданского патриотизма.

Глава 5. Элиты, захват и элита служения

В предыдущей главе рента была показана не как частный дефект экономической системы, а как её структурное свойство в условиях периферийного капитализма. Однако сама по себе рентная структура не обладает автономным существованием. Она всегда опосредована конкретными носителями — группами, которые извлекают, распределяют и защищают соответствующие потоки доходов. Эти группы и составляют то, что в политической и экономической теории принято называть элитами. Именно здесь абстрактная схема приобретает человеческое измерение: рента становится интересом, интерес — стратегией, стратегия — институциональным поведением.

Поэтому вопрос о гражданском патриотизме неизбежно оказывается вопросом об элитах. Не о том, существуют ли они — их существование является константой любой сложной социальной системы, — а о том, какие именно элиты доминируют, как они воспроизводятся и каким образом соотносят собственные интересы с интересами общества. В этом смысле экономический патриотизм может быть либо инструментом расширения коллективных возможностей, либо идеологической оболочкой для перераспределения ренты. Граница между этими состояниями проходит не на уровне лозунгов, а на уровне элитной структуры.

5.1. Классические теории элит и их ограничения

Классические теории элит возникли как реакция на кризис либеральных представлений о народовластии и рациональной политике. Они исходили из наблюдения, которое трудно опровергнуть эмпирически: в любом обществе, независимо от формы правления, решения принимаются ограниченным кругом лиц. Эта мысль, сформулированная с предельной ясностью в работах Гаэтано Моски, разрушала нормативную иллюзию и переводила анализ в плоскость реальных механизмов власти.

Моска, вводя понятие «политического класса», фактически зафиксировал структурную асимметрию, лежащую в основе любого социального порядка [Mosca, 1939]. Организованное меньшинство управляет неорганизованным большинством не потому, что оно обязательно более компетентно или морально превосходит его, а потому, что обладает способностью к координации и доступом к ресурсам. Это наблюдение имеет далеко идущие последствия: оно означает, что вопрос о качестве управления не может быть решён через апелляцию к «воле народа» в абстрактном смысле. Он решается через механизмы формирования и контроля элит.

Моска при этом избегает упрощений. Он понимает, что замкнутая элита склонна к вырождению: потеря контакта с обществом, воспроизводство по принципу принадлежности, а не компетенции, ведут к утрате адаптивности. Но и чрезмерная открытость не является решением: она разрушает институциональную память и делает систему нестабильной. Здесь возникает напряжение, которое не имеет окончательного разрешения: элита должна быть одновременно устойчивой и обновляемой. Именно это напряжение впоследствии будет воспроизводиться в разных формах, включая современную проблему «закрытых сетей» и «меритократических иллюзий».

Вильфредо Парето доводит эту логику до исторического масштаба. Его теория циркуляции элит вводит элемент динамики: элиты не просто существуют, они сменяют друг друга, и эта смена носит закономерный характер [Pareto, 1916]. За внешней стабильностью скрывается постоянное движение — накопление внутренних противоречий, утрата эффективности, постепенная замена одной группы другой. Парето, различая «львов» и «лис», указывает на разные стили господства, но его более глубокий тезис состоит в том, что ни один стиль не является устойчивым сам по себе. Система требует внутреннего разнообразия, а его отсутствие ведёт к кризису.

Для рассматриваемой проблематики этот вывод имеет принципиальное значение. Рентная структура экономики не может быть понята вне динамики элит: кто именно контролирует ренту, каким образом происходит обновление этих групп, и допускается ли вообще такая циркуляция. Там, где циркуляция блокируется, рента закрепляется и становится всё более замкнутой.

Однако классическая итальянская традиция, при всей своей проницательности, остаётся ограниченной. Она фиксирует неизбежность элит, но не даёт инструментов для анализа их внутренней структуры и институциональной обусловленности. Элита выступает как единый субъект, тогда как в реальности она всегда фрагментирована и встроена в сложную систему стимулов.

Роберт Михельс вводит в этот анализ элемент, который разрушает даже осторожный оптимизм Моски и Парето. Его «железный закон олигархии» демонстрирует, что даже те организации, которые создаются для борьбы с неравенством и иерархией, воспроизводят те же самые структуры [Michels, 1911]. Причина заключается не в моральных дефектах участников, а в функциональной логике организации.

Любая сложная структура требует специализации. Появляются профессиональные управленцы, обладающие знаниями, навыками и доступом к информации. Постепенно они концентрируют в своих руках контроль над ключевыми ресурсами — повесткой, коммуникациями, процедурами. Рядовые участники, не обладая ни временем, ни компетенциями, оказываются

вытесненными из реального процесса принятия решений. Демократическая форма сохраняется, но её содержание меняется.

Этот вывод трудно игнорировать при построении любой нормативной модели. Он означает, что апелляция к «хорошим» элитам недостаточна. Даже если элита формируется на основе принципов служения, без институциональных ограничений она будет стремиться к самосохранению и автономии. Следовательно, проблема не в замене «плохих» акторов «хорошими», а в создании таких условий, при которых элита не сможет полностью оторваться от общества.

На этом фоне подход Йозефа Шумпетера выглядит почти оптимистичным, но его оптимизм носит функциональный, а не нормативный характер. Он не отрицает существование элит, но предлагает иной критерий их оценки — способность к развитию [Schumpeter, 1912; 1942]. В его модели центральной фигурой становится предприниматель, разрушающий равновесие и создающий новые экономические возможности.

Здесь происходит важный сдвиг. Элита перестаёт определяться через власть или статус и начинает определяться через функцию. Тот, кто создаёт новое, выполняет общественно значимую роль, независимо от своей формальной позиции. Тот, кто лишь извлекает выгоды из существующей структуры, оказывается в иной категории — даже если формально принадлежит к той же группе.

Это различие становится ключевым для дальнейшего анализа. Оно позволяет выйти за пределы описательного уровня и ввести нормативный критерий: элита может быть оценена по тому, способствует ли она расширению возможностей или, напротив, их ограничению. В условиях рентной экономики это различие приобретает особую остроту, поскольку доминирование ренты систематически смещает стимулы в сторону сохранения статус-кво.

Современные исследования элит окончательно разрушают представление о них как о замкнутой и однородной группе. Элиты предстают как сеть пересекающихся и конкурирующих сообществ — политических, экономических, бюрократических, экспертных. Их поведение определяется не только интересами, но и структурой связей, в которые они встроены.

Во-первых, элиты внутренне неоднородны. Конфликты между различными группами могут как дестабилизировать систему, так и создавать пространство для изменений. Во-вторых, решающую роль играют сети — каналы, через которые циркулируют ресурсы и информация. В-третьих, сами стимулы элит формируются институциональной средой: правила, практики и когнитивные рамки задают границы возможного поведения.

Особое значение приобретают эпистемические сообщества — группы экспертов, разделяющих общие представления о допустимых решениях

[Haas, 1992]. Именно через них осуществляется когнитивное влияние, которое в условиях периферийного капитализма часто принимает форму зависимости. Элиты начинают мыслить в рамках внешних моделей, что влияет на их стратегию и, в конечном счёте, на всю институциональную динамику.

Современный подход тем самым подводит к принципиальному выводу: элиты не существуют вне институтов и не могут быть поняты вне рентной структуры. Они одновременно являются её продуктом и её носителем. Изменение элит без изменения институтов оказывается неустойчивым, а реформы институтов без трансформации элит — неэффективными. Именно здесь вновь проявляется принцип коэволюции, заданный ранее: изменение возможно только как взаимосвязанное движение обоих уровней.

В этой перспективе становится очевидно, что анализ гражданского патриотизма не может ограничиваться ценностным уровнем. Он неизбежно должен включать анализ элит: их структуры, стимулов и способов воспроизводства. Следующий шаг — различение типов элит и введение понятия «элиты служения» как альтернативы рентной логике.

5.2. Материальный и когнитивный захват институтов

Переход от анализа элит как структурного феномена к анализу их практик требует введения категории, которая позволяет описать, каким образом элиты взаимодействуют с институтами не только как их носители, но и как их преобразователи. Такой категорией становится захват институтов. Она фиксирует момент, когда институциональная система перестаёт выполнять универсальную, общественно ориентированную функцию и начинает обслуживать интересы ограниченных групп.

Изначально понятие «захвата» возникло в теории регулирования, где оно обозначало ситуацию, при которой регулирующий орган, формально созданный для защиты общественного интереса, оказывается под влиянием регулируемой отрасли. Джордж Стиглер показал, что регулирование не является нейтральным инструментом: оно часто инициируется самими экономическими акторами, стремящимися ограничить конкуренцию и закрепить свои позиции [Stigler, 1971]. Уже в этой формулировке содержится важный поворот: государство перестаёт быть внешним арбитром и включается в структуру интересов.

Дальнейшее развитие концепции привело к её расширению до уровня всего государства. Институциональный захват в этом смысле означает систематическое влияние узких групп на формирование правил — законов, норм, процедур — таким образом, чтобы они отражали частные интересы, а не общее благо. Исследования Всемирного банка и ЕБРР, посвящённые постсоциалистическим экономикам, показали, что в ряде стран этот про-

цесс принял масштаб, позволяющий говорить о фактической «приватизации государства» [Hellman, Jones, Kaufmann, 2003]. Государственные институты в таких условиях не просто искажаются — они начинают функционировать в иной логике.

Для аналитических целей важно различать две взаимосвязанные, но качественно различные формы захвата — материальную и когнитивную. Первая действует на уровне ресурсов и решений, вторая — на уровне представлений и смыслов.

Материальный захват представляет собой наиболее очевидную форму. Он связан с контролем над институтами с целью извлечения экономической ренты и проявляется через ряд устойчивых механизмов, которые, несмотря на различия в конкретных формах, воспроизводят схожую логику.

1. Прежде всего, это влияние на нормотворчество — от прямой «покупки» законов до более сложных форм лоббирования. Через финансирование политических процессов, участие в разработке нормативных актов или неформальные связи элитные группы добиваются закрепления выгодных правил: налоговых преференций, тарифной защиты, эксклюзивных прав доступа. Здесь происходит фундаментальное смещение: закон перестаёт быть универсальной нормой и становится инструментом распределения.

2. Не менее важным является контроль над правоприменением. Даже при формально нейтральных правилах их применение может быть избирательным. Для одних акторов создаются условия снисходительности, для других — жёсткости. Это достигается через влияние на судебную систему, правоохранительные органы, налоговые службы. В результате возникает асимметрия, которая разрушает принцип равенства перед законом.

3. Существенную роль играет механизм «вращающихся дверей», при котором происходит постоянное перемещение кадров между государственными и корпоративными структурами. Это создаёт не только прямой конфликт интересов, но и более глубокую проблему — совпадение когнитивных и стратегических установок. Решения начинают приниматься с учётом будущих карьерных траекторий, а граница между публичным и частным интересом размывается.

4. Наконец, важнейшим каналом выступает контроль над распределением бюджетных ресурсов — через государственные закупки, субсидии, инвестиционные программы. Формально эти механизмы направлены на достижение общественных целей, но при наличии захвата они превращаются в инструменты перераспределения в пользу аффилированных структур.

Последствия материального захвата выходят далеко за пределы экономической неэффективности. Он трансформирует само восприятие государства. Государство перестаёт быть носителем общего интереса и начинает восприниматься как частный ресурс, доступ к которому ограничен. Это подрывает фискальный контракт, снижает готовность к соблюдению

правил и формирует циничное отношение к институтам. В таких условиях гражданский патриотизм утрачивает содержательную основу: невозможно идентифицироваться с системой, которая воспринимается как несправедливая по своей природе.

Однако материальный захват — лишь часть проблемы. Более глубокий и в определённом смысле более устойчивый уровень связан с когнитивным захватом. В отличие от прямого контроля над ресурсами, он действует на уровне восприятия реальности и критериев рациональности.

Когнитивный захват возникает тогда, когда элиты усваивают определённые интерпретационные рамки и начинают воспринимать их как единственно возможные. Эти рамки могут быть выгодны определённым группам, но их влияние не осознаётся как внешнее или навязанное. Напротив, они воспринимаются как научно обоснованные, нейтральные и универсальные.

1. Один из ключевых механизмов — социализация элит через образовательные и профессиональные институты. Формирование когнитивных рамок происходит не через прямое давление, а через обучение, включение в определённые интеллектуальные традиции и сети. В результате представители разных стран, прошедшие через схожие институциональные фильтры, начинают мыслить в сходных категориях, что формирует глобализированное, но не нейтральное пространство мышления.
2. Существенную роль играет контроль над экспертным дискурсом. Доминирование определённых теоретических парадигм в академической и прикладной среде создаёт ситуацию, в которой альтернативные подходы оказываются маргинализированными. Политические решения начинают оцениваться не с точки зрения их соответствия национальным условиям, а с точки зрения соответствия внешним стандартам.
3. Особое место занимает рейтинговая власть. Индексы, рейтинги и показатели не просто измеряют реальность — они задают критерии её оценки. Правительства ориентируются на улучшение позиций в этих рейтингах, даже если это не соответствует внутренним потребностям общества. В результате политика начинает формироваться в логике внешнего наблюдателя.
4. В цифровую эпоху к этим механизмам добавляется алгоритмическое управление вниманием. Платформы, контролирующие информационные потоки, формируют повестку дня, определяют видимость тем и интерпретаций. Это создаёт новый уровень когнитивного влияния, масштаб которого не имеет исторических аналогов [Zuboff, 2019].

Когнитивный захват обладает особой устойчивостью, поскольку он не воспринимается как захват. В отличие от коррупции или прямого лоббизма, он не вызывает немедленного сопротивления. Напротив, он воспроизводится самими элитами, которые искренне считают свои решения рациональными и прогрессивными. В этом заключается его наибольшая опасность.

Для гражданского патриотизма последствия когнитивного захвата оказываются фундаментальными. Он подрывает когнитивный суверенитет — способность общества самостоятельно формулировать цели развития и критерии успеха. Элиты, действующие в рамках внешних когнитивных моделей, утрачивают способность выступать посредниками между обществом и государством. Возникает разрыв: элиты мыслят в одной логике, общество живёт в другой.

В результате формируются две крайности. С одной стороны, возникает отчуждённый космополитизм элит, оторванный от социального контекста. С другой — реактивный национализм, лишённый содержательной институциональной программы. Ни одна из этих форм не способна обеспечить устойчивое развитие.

Материальный и когнитивный захват, действуя совместно, создают замкнутую систему. Первый закрепляет распределение ресурсов, второй — легитимирует его. Разорвать этот круг возможно только при одновременном воздействии на оба уровня — институциональный и когнитивный. Именно здесь становится необходимым переход к следующему шагу анализа — к рассмотрению альтернативного типа элит, способного функционировать вне логики захвата.

5.3. Элита служения: институциональный дизайн и механизмы подотчётности

Введение понятия «элиты служения» требует особой осторожности, поскольку оно легко может быть воспринято как нормативная декларация или моральный идеал. Однако в рамках предлагаемой модели речь идёт не о ценностной апелляции, а о строго институциональной конструкции. Элита служения — это не характеристика личных качеств конкретных людей, а результат определённой конфигурации стимулов, ограничений и процедур, которые делают систематическое извлечение ренты затруднительным, а ориентацию на общее благо — рационально оправданной стратегией поведения.

Иными словами, элита служения не возникает «снизу» как проявление добродетели и не навязывается «сверху» как политический проект. Она формируется в точке пересечения институционального дизайна и структурных интересов. В этом смысле она является столь же «искусственным» образованием, как и рентная элита, но основана на иной логике — логике подотчётности, прозрачности и долгосрочного воспроизводства.

1. Прежде всего, элита служения характеризуется глубокой институциональной встроенностью. Её статус не является самодостаточным и не воспроизводится исключительно через неформальные сети. Напротив, он постоянно опосредован формальными процедурами, механизмами контроля и

публичной оценкой. Это означает, что элита не обладает монополией на собственное определение — она вынуждена существовать в режиме постоянной проверки. Такая встроенность радикально меняет поведенческие стимулы: удержание позиции становится зависимым не только от внутриэлитных связей, но и от внешней легитимации.

2. Существенным элементом является радикальная прозрачность — не как декларативный принцип, а как операциональная норма. Прозрачность доходов, активов, а также карьерных траекторий разрушает один из ключевых механизмов рентного поведения — асимметрию информации. Когда общество имеет доступ к данным о том, кто принимает решения, какими ресурсами он располагает и каким образом оказался в данной позиции, существенно снижается возможность скрытого извлечения ренты. Важно, что речь идёт не только о раскрытии информации, но и о её доступности и интерпретируемости.

3. Ограничение «вращающихся дверей» выступает не просто антикоррупционной мерой, а фундаментальным элементом институциональной гигиены. В условиях, когда переход между государственными и корпоративными структурами происходит без ограничений, формируется единое поле интересов, в котором различие между публичным и частным размывается. Введение «периодов охлаждения» и иных барьеров создаёт временной разрыв, позволяющий ослабить прямую зависимость решений от будущих карьерных выгод. Это не устраняет полностью проблему конфликта интересов, но делает её управляемой.

4. Не менее важным является наличие реальных санкций. Подотчётность, лишённая механизмов принуждения, быстро превращается в имитацию. Речь идёт не только о формальной уголовной ответственности, но и о более широком спектре последствий — от профессиональной дисквалификации до репутационных издержек. Санкции должны быть не избирательными, а универсальными, иначе сама идея справедливости теряет содержание.

5. Меритократический отбор в данном контексте также требует переосмысления. Он не может быть сведен к формальным процедурам оценки компетенций, поскольку в условиях слабых институтов меритократия легко превращается в инструмент легитимации закрытых сетей. Поэтому она должна сочетаться с элементами внешнего контроля — участием независимых экспертных структур и гражданских институтов. Только в этом случае отбор начинает выполнять свою функцию — обеспечивать приток новых акторов и препятствовать застою.

6. Ориентация на долгосрочное общее благо является, пожалуй, наиболее трудно институционализируемым элементом. Она не может быть обеспечена через декларации, но может быть встроена в систему стимулов. Это предполагает изменение логики оценки эффективности: от краткосрочных

показателей, легко поддающихся манипуляции, к более сложным метрикам, учитывающим устойчивость и качество результатов. Здесь возникает необходимость в разработке новых инструментов измерения, способных фиксировать не только количественные, но и качественные изменения.

Для аналитической ясности различие между рентной элитой и элитой служения может быть представлено через систему критериев, однако важно понимать, что речь идёт о веберовских идеальных типах. В реальности ни одна система не соответствует им полностью. Тем не менее это различие позволяет зафиксировать принципиальный сдвиг: от модели, в которой доход и статус определяются доступом к ограниченным ресурсам, к модели, в которой они зависят от способности создавать общественную ценность.

Если рассматривать эти типы в динамике, становится очевидно, что различие между ними проявляется не только в источниках дохода или механизмах воспроизводства, но и во временном горизонте поведения, когнитивных установках и отношении к обществу. Рентная элита ориентирована на извлечение и закрепление преимуществ; элита служения — на их переработку в устойчивые институциональные формы. Первая стремится минимизировать подотчётность, вторая вынуждена существовать в её условиях. Первая опирается на закрытые сети, вторая — на открытые процедуры.

Вопрос, однако, заключается не в описании этих различий, а в том, каким образом возможно институциональное смещение системы в сторону второго типа. Здесь возникает необходимость в конкретных механизмах, способных изменить структуру стимулов.

К числу таких механизмов относятся:

1. Независимые органы контроля, обладающие не только формальным статусом, но и реальной автономией. Их эффективность определяется не столько юридическими полномочиями, сколько способностью действовать вне текущих политических и экономических коалиций. Без этого они неизбежно интегрируются в существующую систему и утрачивают функцию.
2. Публичные реестры собственности и бенефициарного владения, которые разрушают сложные схемы сокрытия контроля над ресурсами. Прозрачность в данном случае выступает не как цель, а как инструмент выявления скрытых связей.
3. Ограничение кадровой мобильности между государством и бизнесом, направленное на снижение институционального сращивания. Это не означает полной изоляции сфер, но предполагает создание барьеров, препятствующих прямому переносу интересов.
4. Максимальная открытость бюджетных и закупочных процессов. Доступ к данным в машиночитаемом формате позволяет не только фиксировать нарушения, но и создавать инструменты общественного мониторинга.
5. Расширение участия граждан в распределении ресурсов. Партисипаторные практики не только повышают подотчётность, но и формируют у

граждан ощущение сопричастности, без которого гражданский патриотизм остаётся абстракцией.

6. Формирование независимых экспертных сообществ, способных вырабатывать альтернативные когнитивные рамки. Это особенно важно в контексте противодействия когнитивному захвату. Без собственной интеллектуальной инфраструктуры любая институциональная реформа рискует воспроизводить внешние модели, не учитывающие локальную специфику.

7. Реформа систем оценки эффективности, направленная на преодоление логики краткосрочных показателей. Это требует не только изменения метрик, но и изменения организационной культуры, что является наиболее сложной задачей.

Исторический опыт показывает, что элементы подобной конструкции могут возникать в различных контекстах. Сингапур демонстрирует, как сочетание жёстких антикоррупционных механизмов, меритократии и высокой оплаты труда может создать относительно эффективную элиту, хотя и в условиях ограниченной политической конкуренции. Скандинавские страны показывают, что высокий уровень прозрачности и социального доверия способен поддерживать подотчётность элит в рамках демократических институтов. Японский опыт указывает на возможность формирования бюрократии развития, сочетающей автономию и встроенность в экономические процессы [Evans, 1995].

Ни один из этих примеров не является универсальным, но все они подтверждают главный тезис: элита служения не возникает спонтанно. Она является результатом сложной институциональной конфигурации, в которой прозрачность, подотчётность и долгосрочные стимулы соединяются в устойчивую систему.

В этой перспективе становится очевидным, что проблема элит не может быть решена через моральные апелляции или кадровые замены. Она требует глубокой трансформации институциональной среды. И именно здесь вновь проявляется принцип коэволюции: элиты и институты изменяются вместе, формируя новую логику взаимодействия между государством и обществом.

Следующий шаг анализа — показать, каким образом эта логика может быть встроена в более широкую модель гражданского патриотизма и какие ограничения она встречает в условиях периферийного капитализма.

5.4. Трехуровневая модель реализации гражданского патриотизма

Одной из устойчивых проблем нормативных теорий патриотизма является их скрытый перфекционизм. Они апеллируют к максимально требовательному образу гражданина — активного, информированного, рефлексивного, готового к участию и жертве. В теоретическом плане такая фигура

может выглядеть убедительно, но в эмпирической реальности она неизбежно оказывается исключением. Большинство людей живёт в условиях ограниченного времени, ресурсов и внимания, и их включённость в общественную жизнь носит фрагментарный и ситуативный характер. Когда же нормативная модель не учитывает этого, возникает разрыв между идеалом и практикой, который легко трансформируется в цинизм: патриотизм начинает восприниматься либо как недостижимое требование, либо как риторическая фикция.

Предлагаемая трехуровневая модель направлена на преодоление этого разрыва. Её исходная предпосылка состоит в признании того, что гражданский патриотизм не является однородным феноменом. Он реализуется на разных уровнях вовлеченности, каждый из которых выполняет свою функцию в поддержании социальной целостности. Устойчивость системы зависит не от того, насколько массовым становится высший уровень, а от того, насколько согласованно функционируют все уровни и существуют ли институциональные условия для перехода между ними.

Базовый уровень гражданского патриотизма представляет собой минимальную форму включенности, без которой невозможна сама ткань общественной жизни. Он включает соблюдение законов, уплату налогов, выполнение обязательных гражданских обязанностей и участие в формальных процедурах, таких как выборы. На этом уровне патриотизм не требует интенсивной рефлексии или активного участия; он проявляется как устойчивое принятие правил игры.

Принципиально важно подчеркнуть, что даже эта «минимальная» форма не является тривиальной. В обществах, где распространены уклонение от налогов, правовой нигилизм и недоверие к институтам, базовый уровень оказывается дефицитным ресурсом. Его наличие уже свидетельствует о наличии определённой формы гражданской идентификации: индивид признаёт себя частью политического сообщества и принимает обязательства, связанные с этим статусом.

Экономические условия, обеспечивающие устойчивость базового уровня, имеют фундаментальный характер. Прежде всего, это восприятие справедливости налоговой системы. Если налоговая нагрузка распределена асимметрично и привилегированные группы избегают участия, готовность к соблюдению правил неизбежно снижается. Не менее важна видимость результата: налоги должны быть связаны с ощутимыми публичными благами. Когда эта связь разрывается, фискальный контракт теряет легитимность. Наконец, государство должно демонстрировать минимальную функциональную состоятельность — способность обеспечивать безопасность, правопорядок и базовую инфраструктуру.

Вместе с тем, ограниченность этого уровня очевидна. При отсутствии более высоких форм вовлеченности он легко трансформируется в конформизм. Гражданин выполняет правила, но не участвует в их формировании и не ставит под вопрос их содержание. Такая ситуация может быть устойчивой, но она уязвима перед институциональными искажениями, поскольку не содержит внутренних механизмов коррекции.

Продвинутый уровень предполагает переход от пассивного соблюдения к активному участию. Здесь патриотизм приобретает деятельный характер: он выражается в вовлеченности в жизнь сообществ, в участии в институтах гражданского общества, в способности формулировать и отстаивать общественно значимые позиции. Это может принимать самые разные формы — от волонтерства и участия в локальных инициативах до профессиональной самоорганизации и публичного контроля за деятельностью власти.

На этом уровне происходит качественное изменение: гражданин перестаёт быть только объектом регулирования и становится соучастником коллективного действия. Патриотизм перестаёт сводиться к лояльности и начинает включать элемент ответственности. Именно здесь проявляется республиканская традиция, в которой любовь к отечеству неотделима от участия в его делах.

Однако переход к этому уровню не является автоматическим. Он требует определённых институциональных и экономических предпосылок. Во-первых, должны существовать реальные каналы участия — не декоративные процедуры, а механизмы, в которых мнение граждан имеет последствия. Во-вторых, необходим определённый уровень экономической стабильности. Люди, находящиеся в состоянии постоянной борьбы за выживание, не располагают ресурсами для систематического участия. В-третьих, существенную роль играют культурные и образовательные факторы — наличие навыков взаимодействия, доверия и базовой правовой грамотности.

Риски этого уровня также не следует недооценивать. Активное гражданское участие может вступать в конфликт с институциональной инерцией государства, особенно если последнее не готово к подотчётности. Кроме того, существует опасность формирования узких групп активистов, которые начинают претендовать на представительство без достаточной социальной базы. В этом случае участие превращается в форму символической политики, не приводящей к системным изменениям.

Третий уровень связан с деятельностью тех, кто располагает значительными ресурсами и полномочиями — с элитой служения. В отличие от первых двух уровней, он не является массовым по определению. Его специфика заключается в масштабе принимаемых решений и в глубине их последствий. Здесь патриотизм выражается не в форме поведения «обычного» гражданина, а в качестве стратегических решений, влияющих на институциональную траекторию развития.

На этом уровне патриотизм приобретает форму служения — в том смысле, который был разработан в русской философской традиции. Речь идёт о сознательном подчинении собственной деятельности сверхличным целям, связанным с общим благом. Это не исключает личных интересов, но требует их соотнесения с более широкими рамками. Элита служения действует не потому, что она лишена эгоистических мотивов, а потому, что институциональная среда делает ориентацию на долгосрочный общественный результат более рациональной, чем извлечение краткосрочной выгоды.

Экономические и институциональные условия этого уровня были подробно рассмотрены ранее: прозрачность, подотчётность, ограничения конфликта интересов, меритократические процедуры и долгосрочные стимулы. Здесь важно подчеркнуть другое — взаимосвязь этого уровня с предыдущими. Элита служения не может существовать в изоляции от общества. Она требует базового уровня доверия и продвинутого уровня участия как источника обратной связи и легитимности.

Главный риск, присущий этому уровню, связан с его собственной логикой воспроизводства. Даже при благоприятных институциональных условиях элита склонна к замыканию и олигархизации — процесс, описанный Михельсом. Поэтому устойчивость модели зависит от наличия постоянных механизмов обновления и контроля. Без них даже наиболее успешная конструкция постепенно трансформируется в рентную.

Рассматривая три уровня в их взаимосвязи, можно увидеть, что речь идёт не о иерархии в нормативном смысле, а о функциональной системе. Базовый уровень обеспечивает стабильность, продвинутый — адаптивность, уровень элиты служения — стратегическое направление. Ослабление любого из них нарушает баланс: без базового уровня разрушается порядок, без продвинутого — исчезает способность к самокоррекции, без третьего — система теряет ориентиры и становится уязвимой для рентного захвата.

В этой перспективе гражданский патриотизм предстает не как единичное качество или идеологическая установка, а как сложная, многоуровневая структура, укоренённая в институтах и практиках. Именно такая трактовка позволяет связать нормативную теорию с реальными механизмами социального воспроизводства и избежать как утопизма, так и циничного редукционизма.

Рассмотренные уровни гражданского патриотизма приобретают аналитический смысл лишь в том случае, если они понимаются не как статические слои, а как элементы единой динамической системы. Их соотношение не фиксировано раз и навсегда; напротив, оно постоянно воспроизводится, изменяется и подвергается напряжениям. В этом смысле гражданский патриотизм следует мыслить не как совокупность индивидуальных установок, а как процесс — как циркуляцию практик, ролей и ожиданий между различными уровнями общественной жизни.

1. Базовый уровень выполняет функцию фундамента, но этот фундамент не является пассивным. Законопослушание и налоговая дисциплина — это не просто технические условия функционирования государства, а выражение минимального уровня доверия к институциональному порядку. Когда граждане систематически выполняют свои обязательства, они тем самым подтверждают легитимность системы. Это создаёт ресурс, без которого невозможна никакая более сложная форма патриотизма. В отсутствие такого фундамента даже самые продвинутые формы участия оказываются фрагментарными и нестабильными, а элита, претендующая на служение, лишается материальной и символической базы.

Однако этот фундамент не возникает автоматически. Он зависит от восприятия справедливости и предсказуемости институтов. Если граждане не видят связи между своими обязанностями и результатами, базовый уровень начинает эродировать. В этом случае происходит постепенный сдвиг от соблюдения к уклонению, от участия к дистанцированию. Иными словами, фундамент не просто поддерживает систему — он сам нуждается в постоянном воспроизводстве.

2. Продвинутый уровень вводит в систему элемент обратной связи. Именно здесь происходит артикуляция общественных интересов, их перевод в институциональные требования и их давление на структуры власти. Гражданское участие в этом смысле выполняет двойную функцию. С одной стороны, оно ограничивает произвол элит, создавая механизмы внешнего контроля. С другой — оно формирует среду, в которой возникают новые компетенции, новые практики и новые акторы.

Особое значение имеет то, что продвинутый уровень выступает своего рода «инкубатором» для элиты служения. Через участие в локальных инициативах, профессиональных сообществах, общественных организациях формируются навыки, без которых невозможно эффективное управление: способность к кооперации, к принятию решений в условиях неопределенности, к ответственности за коллективный результат. Тем самым граница между уровнями оказывается проницаемой.

В то же время продвинутый уровень не является самодостаточным. Без институционального отклика он может выродиться в символическую активность, лишённую реального воздействия. Если участие не приводит к изменениям, оно постепенно теряет смысл и уступает место апатии. Следовательно, его устойчивость зависит от способности системы воспринимать и перерабатывать поступающие сигналы.

3. Уровень элиты служения задаёт стратегическую рамку функционирования всей системы. Именно здесь формируются решения, определяющие распределение ресурсов, направление реформ и характер институцио-

нальных изменений. Однако значение этого уровня не исчерпывается принятием решений. Он выполняет ещё одну, не менее важную функцию — задаёт стандарты.

Когда элита демонстрирует подотчётность, компетентность и ориентацию на общее благо, это меняет поведенческие ожидания в обществе. Граждане начинают воспринимать институты как заслуживающие доверия, что усиливает готовность к соблюдению правил и участию. Напротив, рентная элита производит противоположный эффект: она разрушает доверие, демотивирует участие и подрывает базовый уровень.

Таким образом, влияние элиты носит не только материальный, но и символический характер. Она формирует рамки, в которых граждане интерпретируют собственное поведение. В этом смысле элита служения выступает не просто как один из уровней, а как узловой элемент, связывающий всю систему.

Динамика этой системы определяется процессом циркуляции между уровнями. В устойчивом обществе эта циркуляция не является исключением, а выступает нормой. Представители продвинутого уровня, обладающие необходимыми компетенциями и доверием, получают возможность перехода на уровень принятия решений — через выборы, назначения или профессиональный рост. Этот переход обеспечивает обновление элиты и предотвращает её замыкание.

Не менее важна обратная траектория. Элита, утратившая доверие или оказавшаяся неэффективной, должна иметь возможность выхода без разрушительных последствий. Отсутствие таких механизмов приводит к тому, что удержание позиции становится самоцелью, а риски, связанные с потерей статуса, — чрезмерными. В результате усиливаются стимулы к захвату и блокированию конкуренции.

Циркуляция между уровнями тем самым выполняет стабилизирующую функцию. Она предотвращает накопление дисфункций, обеспечивает обновление и поддерживает связь между различными слоями общества. Её отсутствие, напротив, ведёт к стагнации: элиты замыкаются, гражданское участие маргинализируется, а базовый уровень начинает размываться.

В этой перспективе гражданский патриотизм предстает как процесс постоянного движения, а не как фиксированное состояние. Его устойчивость определяется не наличием отдельных «добродетельных» элементов, а качеством связей между ними. Именно эти связи — циркуляция, обратная связь, институциональная проницаемость — и образуют ту ткань, в которой возможно соединение индивидуальных мотиваций и коллективных целей.

5.5. Выводы для построения модели

Проведённый анализ позволяет перейти от описания отдельных элементов — ренты, институтов, элит и форм гражданского участия — к их синтезу в единую аналитическую рамку. На этом этапе важно не просто суммировать полученные результаты, а зафиксировать те узловые положения, без которых дальнейшее построение модели оказалось бы лишено внутренней логики. Речь идёт о принципах, задающих направление анализа и одновременно очерчивающих границы возможных интерпретаций.

Прежде всего, необходимо признать неизбежность элит как структурного факта любой сложной социальной системы. Эта идея, проходящая через классические работы Моски и Парето и радикализированная в «железном законе олигархии» Михельса [Mosca, 1939; Pareto, 1916; Michels, 1911], снимает иллюзию, согласно которой проблема может быть решена через устранение иерархий или полное «растворение» власти в обществе. Подобные проекты либо остаются утопическими, либо порождают скрытые формы доминирования, менее подотчётные и более устойчивые. Следовательно, аналитический фокус должен быть смещён: не устранение элит, а их институциональная организация, способы рекрутирования, механизмы контроля и степень открытости становятся центральными переменными.

Однако классические теории, фиксируя неизбежность элит, оставляют открытым вопрос о возможности их трансформации. Они описывают структуру, но не предлагают инструментов её изменения. Этот разрыв между дескриптивным и нормативным уровнем и должен быть восполнен в рамках предлагаемой модели.

Второй ключевой вывод касается природы вырождения элит. Институциональный захват — как в его материальной, так и в когнитивной форме — выступает не как частное отклонение, а как системный механизм, через который элиты переходят от функциональной роли к рентной. Материальный захват деформирует сами правила игры: законы, процедуры и механизмы распределения ресурсов начинают отражать частные интересы, что разрушает представление о справедливости институтов. Когнитивный захват действует более глубоко: он трансформирует способы мышления, в рамках которых принимаются решения, лишая элиты способности к автономному целеполаганию и критической рефлексии.

Особенность этой двойственной структуры состоит в том, что её элементы взаимно усиливают друг друга. Материальный захват нуждается в когнитивной легитимации, а когнитивный — закрепляется через материальные интересы. В результате формируется устойчивая конфигурация, в которой отклонение от общественного интереса перестаёт восприниматься как отклонение. Именно поэтому борьба с захватом не может быть сведена

к антикоррупционным мерам или институциональным реформам в узком смысле; она требует одновременного воздействия на обе составляющие.

В этом контексте понятие «элиты служения» приобретает строгое аналитическое значение. Оно позволяет выйти за пределы дихотомии «хорошие — плохие элиты» и задать институциональный критерий различения. Элита служения — это не моральная категория и не результат селекции «правильных» индивидов, а тип, возникающий при определённой конфигурации стимулов. Прозрачность, подотчётность, ограничения конфликта интересов, независимая экспертиза и участие граждан создают условия, в которых ориентация на общее благо становится не исключением, а рациональной стратегией.

Тем самым снимается ложная альтернатива между цинизмом и моралистом. С одной стороны, отвергается представление о том, что элиты неизбежно рентны. С другой — исключается вера в то, что их можно преобразовать исключительно через апелляцию к ценностям. Институциональный дизайн становится центральным элементом, определяющим поведение элит.

Существенным результатом анализа является введение трехуровневой модели гражданского патриотизма, позволяющей дифференцировать формы участия и избежать нормативного максимализма. Базовый уровень обеспечивает воспроизводство институционального порядка через соблюдение правил и выполнение обязательств. Продвинутый уровень вводит механизмы обратной связи и формирует пространство для коллективного действия. Уровень элиты служения задаёт стратегическое направление и принимает решения, определяющие распределение ресурсов и институциональные изменения.

Принципиально важно, что эти уровни не конкурируют между собой и не образуют иерархию в ценностном смысле. Они выполняют различные функции и взаимно дополняют друг друга. Попытки построить модель, опирающуюся исключительно на один из уровней — будь то массовая мобилизация или ставка на «просвещённую элиту» — неизбежно приводят к дисбалансам.

Наконец, ключевым условием устойчивости системы выступает циркуляция между уровнями. Эта циркуляция обеспечивает обновление, предотвращает замыкание элит и поддерживает связь между обществом и институтами. Блокировка переходов — будь то через закрытость элитных сетей или через маргинализацию гражданского участия — ведёт к накоплению дисфункций и, в конечном счёте, к деградации всей структуры. Здесь вновь проявляется ранее сформулированный методологический принцип: институты и элиты ко-эволюционируют. Невозможно изменить одну составляющую, не затрагивая другую. Попытки реформировать институты без изменения элит приводят к формализации и имитации. Попытки обновить элиты без изменения институциональной среды заканчиваются

их адаптацией к прежним правилам. Только одновременное воздействие на все уровни — формальные нормы, неформальные практики и когнитивные рамки — способно создать условия для устойчивой трансформации.

Таким образом, к концу главы выстраивается связанная конструкция, в которой рента, институты, элиты и формы гражданского участия образуют единую систему. Именно эта система и станет предметом дальнейшего анализа. В следующей части внимание будет сосредоточено на когнитивном измерении — на проблеме когнитивного суверенитета и тех глобальных структурах, которые влияют на формирование элит и институциональных решений в условиях периферийного капитализма.

ЧАСТЬ III. КОГНИТИВНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И АНГЛОСАКСОНСКИЙ ГЛОБАЛИЗМ

Глава 6. Множественные идентичности в цифровую эпоху

Построенная в предыдущих главах институционально-рентная модель гражданского патриотизма неизбежно сталкивается с пределом, если рассматривать человека как носителя единой, устойчивой и внутренне согласованной идентичности. Такая предпосылка была оправдана в классических теориях — от античного полиса до национального государства Нового времени — где социальные, политические и культурные структуры совпадали или, по крайней мере, стремились к совпадению. Однако в условиях глобализации и цифровой трансформации это совпадение распадается. Человек оказывается включённым одновременно в несколько пространств — нормативных, когнитивных и коммуникативных, — каждое из которых предъявляет собственные требования и формирует собственные ожидания.

В результате возникает не просто множественность идентичностей, но их расслоение и конкуренция. Гражданский патриотизм, если он претендует на реалистичность, должен учитывать эту сложность. Он не может больше опираться на предпосылку единой «родины» как безусловного центра лояльности. Напротив, он должен быть переосмыслен как способ координации различных слоев идентичности в условиях их потенциального конфликта.

6.1. Политическая, эпистемическая и цифровая «родины»

Современный человек живёт одновременно в нескольких символических и институциональных пространствах, каждое из которых можно описать как особую форму «родины» — не в территориальном, а в нормативном и практическом смысле. Эти пространства не совпадают и не подчиняются единой иерархии.

1. Политическая идентичность остаётся наиболее традиционной и институционально оформленной. Она связана с гражданством, правовым порядком, территорией и системой обязанностей и прав. Именно в её рамках возникает классический патриотизм — как лояльность к государству, участие в его институтах и готовность поддерживать его воспроизводство. Однако в современной ситуации эта идентичность всё чаще оказывается под давлением. С одной стороны, наднациональные структуры и глобальные рынки ограничивают суверенитет государств, с другой — локальные и культурные идентичности конкурируют с универсалистскими моделями.

Политическая «родина» перестаёт быть единственным горизонтом принадлежности.

2. Эпистемическая идентичность формируется в рамках профессиональных и научных сообществ. Её носители ориентируются не столько на территорию, сколько на язык дисциплины, стандарты доказательства, критерии признания. Для современного специалиста — будь то экономист, программист или исследователь — именно это сообщество становится источником легитимации. Карьерные траектории, символический капитал, профессиональная репутация определяются не национальными институтами, а глобальными сетями знания. В результате возникает ситуация, при которой «свои» — это не соотечественники, а коллеги, разделяющие ту же когнитивную рамку. Эта форма идентичности обладает высокой интегративной силой, но её горизонт не совпадает с политическим.

3. Цифровая идентичность, в свою очередь, формируется в пространстве платформ и алгоритмов. Она не только дополняет другие формы, но и радикально трансформирует саму структуру повседневности. Цифровая «родина» не имеет границ в классическом смысле; она определяется архитектурой платформ, логикой алгоритмов и сетевыми взаимодействиями. Здесь человек может одновременно принадлежать к нескольким сообществам, поддерживать разные образы себя, переключаться между ролями. Эта идентичность принципиально фрагментирована и пластична.

Важно подчеркнуть, что цифровая среда не является нейтральной. Она организована таким образом, чтобы максимизировать вовлечённость, а не поддерживать когерентность идентичности. Алгоритмы усиливают те содержания, которые вызывают эмоциональную реакцию, поляризацию и повторное взаимодействие. В результате цифровая идентичность оказывается не только множественной, но и нестабильной.

Наличие этих трёх слоёв само по себе не разрушает социальную целостность. Проблема возникает тогда, когда они начинают предъявлять несовместимые требования.

Конфликт между политической и эпистемической идентичностью проявляется прежде всего в ситуациях, где профессиональные стандарты вступают в противоречие с национальной политикой. Эксперт, ориентированный на глобальное сообщество, может воспринимать внутренние решения как неэффективные или ошибочные. В то же время публичная критика может интерпретироваться как нарушение лояльности. Возникает напряжение, которое не имеет простого разрешения: отказ от критики ведёт к профессиональной деградации, её выражение — к политическим рискам.

Конфликт между политической и цифровой идентичностью связан с контролем над информационными потоками. Платформы, через которые формируется общественное мнение, подчиняются собственной логике и собственным центрам управления. В условиях кризиса они могут влиять на

доступность информации, формирование повестки и даже на видимость определённых позиций. Гражданин, находящийся внутри такой среды, оказывается в положении, где его восприятие реальности опосредовано внешними алгоритмами. Это создаёт новую форму зависимости, которую можно описать как эрозию информационного суверенитета.

Не менее сложен конфликт между эпистемической и цифровой идентичностью. Логика научного знания предполагает медленность, проверяемость, аргументированность. Логика цифровых платформ — скорость, упрощение и эмоциональность. Эксперт, пытающийся сохранить профессиональные стандарты, оказывается менее заметным в цифровой среде, тогда как упрощённые и радикальные позиции получают преимущество. Это создаёт давление на саму структуру знания, подталкивая её к адаптации к внешним условиям.

В совокупности эти конфликты приводят к более глубокому сдвигу — трансформации самой природы идентичности. Если в традиционных обществах она была относительно стабильной и задавалась через принадлежность к определённой группе, то в современных условиях она становится процессуальной и изменчивой. Зигмунт Бауман описывает это состояние как «текучесть» — отсутствие фиксированных опор и постоянную необходимость выбора [Bauman, 2000]. Человек больше не «обладает» идентичностью, а постоянно её конструирует и пересобирает.

Эта текучесть имеет двойственный эффект. С одной стороны, она расширяет возможности — позволяет выходить за пределы заданных рамок, менять траектории, адаптироваться к новым условиям. С другой — она подрывает способность к долгосрочным обязательствам. Гражданский патриотизм, основанный на устойчивой привязанности и готовности к участию, оказывается в ситуации, где сама идея стабильной лояльности становится проблематичной.

Возникает фундаментальный вопрос: возможно ли сохранение гражданского патриотизма в условиях множественных и конфликтующих идентичностей? Ответ на него не может быть дан в рамках классических моделей. Он требует переосмысления патриотизма как формы координации — не подавления других идентичностей, а их согласования в рамках институционального порядка, способного удерживать эту сложность.

Именно к анализу этих механизмов координации — и к роли когнитивного суверенитета в их обеспечении — мы и переходим в следующих разделах.

6.2. Конфликт лояльностей и его экономические последствия

Проблема множественных идентичностей приобретает особую остроту в тот момент, когда она выходит за пределы индивидуальной психологии и начинает структурировать поведение ключевых акторов — прежде всего элит. Если на уровне повседневной жизни конфликт лояльностей может оставаться латентным, то на уровне принятия решений он становится фактором, непосредственно влияющим на траекторию экономического развития. В этом смысле речь идет не о культурном феномене в узком смысле, а о глубинном механизме, через который формируются институциональные выборы, перераспределяются ресурсы и воспроизводятся или трансформируются рентные структуры.

Наиболее интенсивно этот конфликт проявляется в среде элит, поскольку именно они одновременно включены во все три описанных ранее пространства — политическое, эпистемическое и цифровое. Их положение принципиально отличается от положения большинства граждан: если для последних политическая и локальная идентичности сохраняют доминирующее значение, то элиты живут в режиме постоянного пересечения сетей. Они получают образование в транснациональных центрах знания, участвуют в глобальных профессиональных сообществах, ориентируются на международные стандарты и рейтинги, а их коммуникация во многом опосредована цифровыми платформами.

В этой конфигурации лояльность перестает быть однозначной. Она становится распределенной и, в ряде случаев, иерархически переупорядоченной. При этом эмпирические наблюдения показывают, что в периферийных странах приоритет нередко смещается в сторону глобальной эпистемической и цифровой идентичности, тогда как политическая идентичность — та, на которой основан гражданский патриотизм, — приобретает инструментальный характер.

Этот сдвиг не является результатом «недостатка патриотизма» в моральном смысле; он укоренён в системе стимулов. Во-первых, карьерные траектории элит в значительной степени зависят от признания со стороны внешних эпистемических центров. Публикации в международных журналах, участие в глобальных проектах, доступ к грантам и исследовательским сетям формируют структуру вознаграждений, которая часто оказывается более значимой, чем национальные механизмы признания. В результате рациональный выбор склоняется в пользу соответствия этим внешним критериям.

Во-вторых, когнитивные рамки, формируемые в процессе образования и профессиональной социализации, задают не только инструментарий анализа, но и саму картину мира. Категории «эффективности», «рациональности», «современности» приобретают конкретное содержание, связанное

с определёнными институциональными моделями. Национальная специфика в этой логике нередко интерпретируется как отклонение от нормы, требующее коррекции. Это не обязательно сопровождается сознательной установкой на отказ от национальных интересов; напротив, субъекты могут быть убеждены, что действуют в интересах развития. Однако сами критерии «развития» оказываются внешне заданными.

В-третьих, цифровая среда усиливает этот эффект, создавая устойчивые когнитивные контуры. Алгоритмические механизмы отбора информации формируют так называемые «пузыри фильтров», в которых воспроизводятся и усиливаются уже усвоенные установки. Для элит, интегрированных в глобальные сети, это означает постоянное подтверждение их эпистемической идентичности и постепенное вытеснение альтернативных перспектив.

Совокупность этих факторов приводит к феномену, который можно обозначить как внутреннюю эмиграцию. Речь не идет о физическом перемещении; напротив, субъект может оставаться внутри страны и занимать в ней ключевые позиции. Однако его когнитивная и ценностная ориентация смещается за пределы национального контекста. Политическая лояльность в такой ситуации становится условной: она сохраняется постольку, поскольку не вступает в противоречие с требованиями глобальных сетей, в которые субъект встроен.

Экономические последствия этого сдвига носят системный характер. Прежде всего, он влияет на выбор экономической политики. Когда критерии успеха задаются внешними институтами — международными организациями, рейтинговыми агентствами, академическими стандартами, — возникает соблазн подстраивать внутренние решения под эти критерии. Политика начинает оцениваться не по её способности решать конкретные национальные задачи, а по её соответствию внешним ожиданиям. В истории последних десятилетий это проявлялось в ориентации на универсалистские рецепты реформ, игнорирующие институциональную специфику отдельных стран.

Далее, конфликт лояльностей напрямую связан с динамикой человеческого капитала. Элиты, чья идентичность носит глобальный характер, обладают высокой мобильностью. В условиях неблагоприятной внутренней конъюнктуры они с большей вероятностью принимают решение о миграции. Это создает асимметрию: страна несёт издержки на их образование и подготовку, но не получает соответствующей отдачи. Более того, формируется устойчивый канал утечки не только знаний, но и институциональной энергии — способности к реформированию и развитию.

Не менее значимым является воздействие на институциональную среду. Элиты, не связывающие свою долгосрочную судьбу с национальной

системой, оказываются менее мотивированными инвестировать в её устойчивость. Их временной горизонт сокращается, а стратегия поведения смещается в сторону извлечения краткосрочных выгод. В терминах ранее введённой модели это означает усиление «коротких» рентных стратегий и ослабление стимулов к формированию «длинных» институтов — тех, которые требуют времени, последовательности и доверия.

Наконец, наиболее глубокое последствие связано с когнитивным суверенитетом. Если элиты систематически ориентируются на внешние когнитивные рамки, общество утрачивает способность к самостоятельному целеполаганию. Речь идет не просто о заимствовании идей, что само по себе неизбежно и часто продуктивно, а о зависимости, при которой альтернативные подходы не рассматриваются как легитимные. В этом состоянии страна оказывается включённой в глобальное разделение не только труда, но и мышления.

Исторический опыт постсоветских реформ в России в 1990-е годы позволяет проследить эти механизмы в концентрированной форме. Новая экономическая элита, сформировавшаяся в этот период, во многом ориентировалась на мейнстримную экономическую теорию и практики, доминировавшие в международных институтах. Быстрая либерализация, приватизация и макроэкономическая стабилизация рассматривались как универсальный путь трансформации. При этом институциональная специфика — слабость правовой системы, отсутствие устойчивых механизмов защиты собственности, неразвитость конкуренции — недооценивалась или рассматривалась как второстепенная.

Последствия этой политики хорошо известны: резкое падение производства, рост неравенства, криминализация экономических отношений и формирование олигархических структур. В терминах нашей модели это можно интерпретировать как сочетание когнитивного захвата и институциональной незавершённости. Заимствованные когнитивные рамки не были адаптированы к локальным условиям, а отсутствие «толстых» институтов привело к тому, что либерализация трансформировалась в систему извлечения ренты.

Этот кейс важен не как аргумент против открытости или заимствований, а как указание на необходимость согласования уровней идентичности и соответствующих им логик. Конфликт лояльностей становится экономической проблемой тогда, когда он не осознаётся и не институционализируется. В таком случае он действует скрыто, но системно, формируя решения, последствия которых проявляются уже на уровне макроэкономической динамики и социальной структуры.

Именно поэтому дальнейший анализ требует обращения к механизмам, способным удерживать эту сложность — не устраняя множественность идентичностей, а создавая условия для их согласования. В противном

случае гражданский патриотизм оказывается вытесненным либо технократическим космополитизмом элит, либо реактивными формами массового национализма, не имеющими устойчивой институциональной опоры.

6.3. Когнитивный захват: механизмы и каналы

В предыдущих разделах понятие когнитивного захвата использовалось как аналитический инструмент для объяснения устойчивости институционально-рентных структур. Теперь необходимо придать ему систематическую форму, поскольку именно на этом уровне — уровне мышления, интерпретации и самоочевидности — закрепляются те ограничения, которые делают возможным воспроизводство периферийного капитализма даже в условиях его очевидной неэффективности.

Когнитивный захват следует понимать как процесс интериоризации внешне сформированных когнитивных рамок — представлений о том, как устроен мир, какие цели являются легитимными, какие средства допустимы и какие критерии используются для оценки успеха. Эти рамки не просто заимствуются; они становятся частью самого способа мышления. В результате субъект — будь то отдельный индивид, профессиональное сообщество или общество в целом — начинает воспринимать их как естественные и универсальные. В этом и заключается его принципиальное отличие от манипуляции: манипуляция предполагает возможность разоблачения, тогда как когнитивный захват действует на уровне, где сама возможность сомнения оказывается ограниченной.

На индивидуальном уровне этот процесс начинается с образования и профессиональной социализации. Ученый, чиновник или эксперт усваивает определенный язык описания реальности, набор авторитетов, канон «правильных» текстов и аргументов. Эти элементы постепенно формируют когнитивную структуру, внутри которой он мыслит и принимает решения. Важно, что эта структура не осознается как внешняя; она переживается как собственная рациональность.

На уровне эпистемических сообществ происходит закрепление этих рамок. Определенные парадигмы становятся доминирующими, определяя, что считается научным, а что — маргинальным. Процедуры рецензирования, академические стандарты, механизмы карьерного продвижения начинают воспроизводить одну и ту же когнитивную матрицу, исключая альтернативные подходы как «ненаучные» или «устаревшие» [Haas, 1992]. В результате формируется замкнутая система, обладающая высокой степенью внутренней согласованности, но ограниченной способностью к саморефлексии.

На уровне общества когнитивный захват приобретает форму «здравого смысла». Через систему образования, медиа и массовую культуру

определенные представления закрепляются как очевидные. Они перестают восприниматься как результат исторического выбора или борьбы идей и начинают функционировать как неоспоримые основания общественного мышления. Именно на этом уровне когнитивный захват становится наиболее устойчивым, поскольку его воспроизводство осуществляется повседневными практиками, не требующими осознанного усилия.

Каналы, через которые осуществляется этот процесс, образуют сложную и взаимосвязанную систему.

Первый и наиболее фундаментальный канал — образование и академические стандарты. Его влияние носит долгосрочный характер, поскольку он формирует когнитивные рамки будущих элит. Обучение в университетах глобального центра — в США, Великобритании и других странах ядра — предполагает не только освоение знаний, но и включение в определенную интеллектуальную традицию. Студенты усваивают канон текстов, язык анализа, критерии научности и эффективности. Возвращаясь в национальный контекст, они воспроизводят эти стандарты, часто не подвергая их критической адаптации.

Зависимость национальных университетов от международных рейтингов усиливает этот эффект. Стремление к повышению позиций в QS, THE или ARWU приводит к переориентации образовательной и исследовательской деятельности на внешние критерии. Публикации в англоязычных журналах, интернационализация, участие в глобальных проектах становятся приоритетом, тогда как локальные проблемы, не вписывающиеся в эту повестку, оказываются на периферии. Доминирование баз данных Web of Science и Scopus закрепляет эту асимметрию, формируя иерархию знаний, в которой периферийные темы и подходы структурно недооценены.

Второй канал — грантовая и think-tank инфраструктура. Международные фонды и аналитические центры выступают не только как источники финансирования, но и как производители когнитивных рамок. Финансирование направляется на те темы и методы, которые соответствуют приоритетам доноров. Это создает селективное поле знания, в котором одни проблемы получают внимание и ресурсы, а другие остаются вне поля исследования.

Особую роль играет практика предоставления готовых «пакетов реформ». Международные организации и think-tank'и разрабатывают институциональные решения, основанные на обобщении «лучших практик», и предлагают их правительствам периферийных стран. В условиях ограниченных ресурсов и дефицита собственной экспертизы эти решения нередко принимаются без достаточной адаптации. Через систему грантов и стипендий формируется слой экспертов, чья профессиональная идентичность связана с воспроизводством этих рамок, что усиливает зависимость от внешних источников когнитивной легитимации.

Третий канал — цифровые платформы и алгоритмическое управление вниманием. Здесь когнитивный захват приобретает качественно новую форму, связанную с масштабом и скоростью распространения информации. Платформы, такие как Google, Meta, YouTube или TikTok, не просто транслируют контент; они структурируют его через алгоритмы, ориентированные на максимизацию вовлеченности. Это приводит к формированию «пузырей фильтров», в которых пользователь сталкивается преимущественно с информацией, подтверждающей его существующие установки [Pariser, 2011].

Модерация контента дополняет этот процесс, задавая границы допустимого высказывания. Поскольку стандарты разрабатываются в конкретных культурных и политических контекстах, они отражают ценности этих контекстов и распространяются глобально. Контроль над данными усиливает асимметрию: информация о поведении пользователей концентрируется в центрах, расположенных за пределами периферийных стран, что создает основу для новых форм зависимости [Zuboff, 2019].

Четвертый канал — финансовые и рейтинговые институты. Их влияние основано на способности задавать критерии оценки. Кредитные рейтинги, индексы качества управления, показатели делового климата формируют систему координат, в которой государства оценивают свою политику. Эти показатели представляются как объективные и научно обоснованные, что придает им особую легитимность.

Обусловленность кредитов и помощи со стороны МВФ и Всемирного банка закрепляет эту зависимость. Доступ к ресурсам ставится в зависимость от проведения реформ, соответствующих определенной теоретической парадигме. Рейтинговая власть усиливает давление: изменение рейтинга влияет на стоимость заимствований и может спровоцировать макроэкономическую нестабильность. В результате правительства вынуждены учитывать внешние критерии даже в тех случаях, когда они противоречат внутренним приоритетам.

Когнитивный захват не является внешним по отношению к рентной системе; он встроен в нее как один из ключевых механизмов воспроизводства. Его первая функция — легитимация. Рентные структуры, которые с точки зрения внутренней логики развития могут выглядеть неэффективными, представляются как неизбежные или даже оптимальные. Критика таких структур маргинализируется, поскольку выходит за пределы допустимых когнитивных рамок.

Вторая функция связана с перераспределением ренты. Значительная часть ресурсов, создаваемых в периферийных экономиках, уходит во внешние центры — через обслуживание долгов, оплату технологий и консультационных услуг, вывод капитала. Когнитивный захват облегчает этот процесс, поскольку элиты воспринимают его как естественный элемент интеграции в глобальную экономику.

Третья функция — блокирование альтернатив. Когнитивный захват сужает пространство возможного, исключая из него стратегии, не соответствующие доминирующим парадигмам. Это лишает общество способности к самостоятельному целеполаганию и закрепляет его периферийный статус.

В результате когнитивный захват выступает не просто как идеологический феномен, а как структурный элемент институционально-рентной системы. Он обеспечивает ее устойчивость, ограничивая способность акторов к переосмыслению и трансформации. Именно поэтому его анализ оказывается необходимым условием для понимания не только того, как функционирует периферийный капитализм, но и того, почему попытки его изменения столь часто наталкиваются на невидимые, но чрезвычайно устойчивые барьеры.

6.4. Когнитивный суверенитет как ответ на вызовы

Постановка проблемы когнитивного захвата неизбежно выводит к вопросу о возможном противодействии. Если когнитивный захват действует на уровне базовых категорий мышления, то и ответ на него не может быть сугубо техническим или ситуативным. Он требует формирования устойчивой способности к автономному мышлению — того, что в данной работе обозначается как когнитивный суверенитет. Речь идет не о частной компетенции и не о политическом лозунге, а о системной характеристике общества, без которой невозможно ни институциональное развитие, ни воспроизводство гражданского патриотизма.

Когнитивный суверенитет в самом общем виде можно определить как способность личности, эпистемических сообществ и государства сохранять автономию в определении целей, интерпретации реальности и выборе средств действия в условиях внешнего давления, конкурирующих когнитивных рамок и множественных идентичностей. Это способность не просто «сопротивляться» внешним влияниям, но и перерабатывать их, встраивая в собственную систему координат.

Важно подчеркнуть, что когнитивный суверенитет принципиально отличается от изоляционизма. Изоляционизм предполагает отказ от внешнего знания как такового, тогда как когнитивный суверенитет предполагает его критическое освоение. В условиях глобальной экономики и науки полная автономия невозможна и нежелательна; вопрос заключается в том, на каких условиях осуществляется заимствование. Суверенитет здесь проявляется в способности отбирать, адаптировать и переосмыслять внешние идеи, а не механически воспроизводить их.

Структурно когнитивный суверенитет разворачивается на трех взаимосвязанных уровнях.

На индивидуальном уровне речь идет о когнитивной автономии личности. Это способность человека к рефлексии над собственными убеждениями, к различению аргумента и авторитета, к выявлению скрытых предпосылок в информации. Такая способность не возникает спонтанно; она требует системного образования, включающего логику, основы научного метода, медиаграмотность. В условиях цифровой среды особое значение приобретает умение работать с избыточной информацией, распознавать манипуляции, понимать принципы алгоритмической селекции контента. Индивид, лишенный этих навыков, оказывается встроенным в чужие когнитивные конструкции, даже не осознавая этого.

На уровне эпистемических сообществ когнитивный суверенитет означает способность к выработке собственных исследовательских программ и аналитических рамок. Здесь ключевым становится вопрос о балансе между включенностью в глобальную науку и сохранением автономии. Полное воспроизводство внешних стандартов ведет к утрате чувствительности к национальной специфике; полная изоляция — к маргинализации. Суверенное эпистемическое сообщество способно одновременно участвовать в глобальном научном диалоге и формулировать вопросы, исходящие из собственных институциональных и исторических условий.

Особое значение имеет способность таких сообществ к формированию альтернативных интерпретаций. Если в профессиональной среде доминирует единственная парадигма, когнитивный суверенитет оказывается подорванным. Разнообразие теоретических подходов, наличие конкурирующих школ и открытая научная дискуссия становятся не просто академической ценностью, а институциональным условием интеллектуальной независимости. На уровне государства и общества когнитивный суверенитет приобретает форму способности к самостоятельному целеполаганию. Это означает, что стратегические решения — в экономике, образовании, технологическом развитии — принимаются не как реакция на внешние сигналы (рейтинги, рекомендации, стандарты), а как результат внутреннего анализа и общественного диалога. Для этого необходимы развитые институты производства знания: система образования, научные центры, независимые медиа, культурные институции. Без них общество оказывается в положении потребителя чужих смыслов.

Связь когнитивного суверенитета с гражданским патриотизмом носит принципиальный характер. Гражданский патриотизм, в отличие от его этатистских или националистических форм, предполагает осознанную лояльность — лояльность, основанную на понимании, а не на внушении. Гражданин должен быть способен оценивать действия власти, различать долгосрочные и краткосрочные интересы, понимать институциональные

последствия принимаемых решений. Без когнитивной автономии эта способность исчезает, и патриотизм либо редуцируется до эмоциональной мобилизации, либо растворяется в безразличии.

Когнитивный суверенитет необходим и для формирования элиты служения. Элита, лишенная интеллектуальной автономии, неизбежно ориентируется на внешние источники легитимации — будь то международные рейтинги, экспертные сообщества или финансовые институты. В этом случае ее решения оказываются производными от внешних рамок, а не от внутренней логики развития. Элита служения предполагает способность к самостоятельному стратегическому мышлению, что невозможно без когнитивного суверенитета.

Укрепление когнитивного суверенитета требует системных усилий на всех уровнях.

На индивидуальном уровне ключевым направлением является трансформация образования. Образовательная система должна выходить за рамки передачи знаний и формировать способность к их критическому освоению. Это включает развитие аналитического мышления, навыков аргументации, понимания научной методологии. Особое значение приобретает медиаграмотность — способность ориентироваться в цифровой среде, понимать механизмы формирования информационных потоков, распознавать манипуляции. Параллельно необходимо поддерживать институции, обеспечивающие глубокое интеллектуальное взаимодействие: библиотеки, научно-популярные проекты, дискуссионные площадки.

На уровне эпистемических сообществ важнейшей задачей становится создание условий для автономного научного развития. Это предполагает поддержку национальных журналов и исследовательских программ, развитие научных школ, формирование собственных критериев значимости исследований. При этом речь не идет об отказе от международной публикационной активности, а о преодолении ее монополии как единственного критерия научной ценности. Независимые аналитические центры и профессиональные ассоциации должны играть роль посредников между наукой, государством и обществом, обеспечивая разнообразие экспертных позиций.

На уровне государства и общества ключевыми являются институциональные и инфраструктурные меры. Поддержка национальных цифровых платформ позволяет снизить зависимость от внешних центров контроля информации и данных. Регулирование глобальных платформ должно быть направлено не на изоляцию, а на обеспечение прозрачности алгоритмов, защиту данных и соблюдение национального законодательства. Однако наиболее фундаментальной остается инвестиция в производство знания — в образование, науку и культуру. Общество, не создающее собственных смыслов, неизбежно оказывается в положении их потребителя.

Когнитивный суверенитет, в конечном счете, выступает как условие выхода из институциональных ловушек периферийного капитализма. Без него любые реформы остаются поверхностными, поскольку воспроизводят те же когнитивные рамки, которые породили существующие проблемы. Он задает возможность для переосмысления целей развития и формирования альтернативных стратегий, в которых экономическая эффективность, институциональная устойчивость и гражданская солидарность оказываются взаимосвязанными элементами единой системы.

6.5. Выводы

Проведенный анализ позволяет зафиксировать ряд принципиальных положений, без которых дальнейшее развитие институционально-рентной модели оказалось бы неполным и внутренне противоречивым. Речь идет не о простом суммировании уже сказанного, а о выстраивании концептуальной рамки, в которой феномен гражданского патриотизма оказывается неотделим от трансформаций идентичности, структуры знания и механизмов власти в цифровую эпоху.

Прежде всего, необходимо признать, что цифровая трансформация изменила саму антропологию социального субъекта. Современный человек более не существует в рамках единой, устойчивой идентичности, совпадающей с политическим телом государства. Политическая, эпистемическая и цифровая идентичности образуют сложную, многослойную конфигурацию, в которой каждая из «родин» — государство, профессиональное сообщество, цифровая платформа — предъявляет собственные требования лояльности. Это расслоение не является поверхностным; оно затрагивает фундаментальные основания выбора, самоидентификации и социального действия. В результате лояльность перестает быть однозначной, а сама возможность устойчивой привязанности к политическому сообществу оказывается проблематизированной.

Именно в этой точке особую значимость приобретает положение элит. В отличие от массового населения, для которого политическая и локальная идентичности сохраняют значительную устойчивость, элиты структурно включены в глобальные эпистемические и цифровые сети. Их профессиональное признание, карьерные траектории и символический капитал формируются в транснациональном пространстве. Это создает асимметрию: формально принадлежа к национальному государству, элиты нередко ориентируются на внешние критерии оценки и легитимации. Разрешение конфликта лояльностей в пользу глобальной идентичности становится не исключением, а институционально воспроизводимым паттерном. В этом проявляется не субъективный «выбор», а результат действия структурных стимулов.

Ключевым механизмом, обеспечивающим устойчивость этой конфигурации, выступает когнитивный захват. Он не сводится к идеологическому давлению или пропаганде в узком смысле. Речь идет о более глубоком процессе — усвоении когнитивных рамок, которые начинают восприниматься как нейтральные и универсальные. Именно поэтому когнитивный захват оказывается трудно распознаваемым: он не воспринимается как внешнее воздействие, а переживается как собственное мышление. Его каналы — образование, научные стандарты, грантовая инфраструктура, цифровые платформы, рейтинговые и финансовые институты — формируют целостную систему производства и воспроизводства знания, в рамках которой альтернативные интерпретации либо маргинализируются, либо исключаются [Haas, 1992; Pariser, 2011; Zuboff, 2019].

Встраиваясь в институционально-рентную систему периферийного капитализма, когнитивный захват выполняет функциональную роль. Он обеспечивает легитимацию существующего порядка, представляя его как естественный и безальтернативный. Он облегчает перераспределение ресурсов в пользу внешних центров, поскольку такая утечка интерпретируется как «нормальная» цена интеграции в глобальную экономику. Наконец, он сужает горизонт возможного, блокируя формирование альтернативных стратегий развития. В этом смысле когнитивный захват выступает не надстройкой, а органическим элементом рентной структуры.

В ответ на эти процессы вводится понятие когнитивного суверенитета. Его значение выходит далеко за рамки интеллектуальной автономии как индивидуального качества. Когнитивный суверенитет — это системная способность общества и государства сохранять контроль над собственными основаниями мышления и целеполагания. Без этой способности невозможна ни разработка адекватной экономической политики, ни формирование устойчивых институтов, ни воспроизводство гражданского патриотизма. В отсутствие когнитивного суверенитета патриотизм принимает искаженные формы: либо редуцируется до эмоционально мобилизационного национализма, используемого элитами в рентных целях, либо растворяется в космополитической установке, лишенной институциональной укорененности.

Особое значение имеет тот факт, что когнитивный суверенитет не может быть достигнут одномоментно или в рамках одной институциональной реформы. Он требует согласованных усилий на трех уровнях. На индивидуальном уровне — через развитие критического мышления и медиаграмотности. На уровне эпистемических сообществ — через формирование автономных научных и экспертных школ, способных к самостоятельной постановке проблем. На уровне государства — через создание инфраструктуры производства знания, регулирование цифровых потоков информации

и стратегические инвестиции в образование и культуру. Только при конгруэнтности этих уровней возможно устойчивое воспроизводство когнитивной автономии.

В совокупности эти положения позволяют уточнить место гражданского патриотизма в предложенной модели. Он предстает не как изолированная ценностная установка, а как результат сложного взаимодействия институциональных, рентных и когнитивных факторов. Его устойчивость зависит не только от распределения ресурсов и качества институтов, но и от способности общества мыслить самостоятельно — формулировать собственные цели и интерпретировать собственный опыт.

Дальнейший анализ требует перехода от общей логики когнитивного захвата к его конкретно-историческим формам. В следующей главе будет рассмотрен англосаксонский глобализм — особый тип когнитивной и институциональной экспансии, который, претендуя на универсальность, фактически выступает формой национально окрашенного проекта, замаскированного под нейтральный универсализм.

Глава 7. Англосаксонский глобализм как форма национализма

В предыдущей главе была выстроена общая рамка анализа когнитивного захвата и сформулировано понятие когнитивного суверенитета как условия автономного развития. Логическим продолжением этого анализа становится рассмотрение конкретно-исторической конфигурации, в которой когнитивный захват достигает наибольшей системности и эффективности. Речь идет об англосаксонском глобализме — феномене, который обычно описывается как нейтральный процесс интеграции, модернизации и распространения универсальных норм, но который при более внимательном рассмотрении обнаруживает отчетливые черты особого типа национализма.

Центральный тезис настоящей главы заключается в том, что англосаксонский глобализм представляет собой форму имплицитного, «маскированного» национализма, в рамках которого национальные интересы, институциональные формы и ценностные установки ядра (прежде всего США и Великобритании) универсализируются и предъявляются как общечеловеческие. Его сила заключается не в прямом принуждении, а в способности определять сами критерии рациональности, эффективности и легитимности, встраивая иные общества в собственную когнитивную и институциональную матрицу.

7.1. Имперский национализм и универсалистская риторика: исторические корни

Историческая генеалогия англосаксонского глобализма позволяет увидеть, что его современная форма не является случайной. Она опирается на устойчивую традицию универсализации партикулярного, характерную для имперских проектов, но достигшую в англосаксонском мире особой степени институционализации и когнитивной проработанности.

Британская империя выступает в этом отношении ключевым прецедентом. Уже в XVIII–XIX веках формируется риторическая конструкция, в рамках которой британская экспансия представляется не как борьба за ресурсы и власть, а как выполнение исторической миссии. Концепция «цивилизаторской миссии» и связанная с ней формула «бремени белого человека» [Kipling] задают особую логику оправдания: господство метрополии над колониями интерпретируется как акт морального служения. В этой логике британские институты — право, парламентская система, торговые практики — лишаются своей исторической конкретности и превращаются в универсальные стандарты, к которым должны стремиться все общества.

Данная стратегия выполняла сразу несколько взаимосвязанных функций. Во-первых, она легитимировала имперское господство, превращая его из акта насилия в форму морального долга. Во-вторых, она обеспечивала внутреннюю консолидацию метрополии, формируя образ собственной исключительности и цивилизационного лидерства. В-третьих, она делегитимировала сопротивление, переводя его из категории политической борьбы в категорию «отсталости» и «варварства». Наконец, она создавала универсальный язык, в котором британские институты могли быть экспортированы как образцы, а не как инструменты конкретной нации.

Переход глобального лидерства к Соединенным Штатам после Второй мировой войны не разрушил эту модель, а трансформировал ее, придав ей новые основания. Американская версия универсалистского национализма опирается на ряд идей, глубоко укорененных в политической культуре США.

Доктрина «явного предначертания» (Manifest Destiny) уже в XIX веке формирует представление о том, что экспансия США имеет не только прагматический, но и провиденциальный характер. Расширение американского пространства свободы мыслится как историческая необходимость, предписанная самой логикой развития. Позднее эта идея трансформируется в концепцию американской исключительности (American Exceptionalism), согласно которой США представляют собой уникальный политический эксперимент, основанный на универсальных принципах свободы и демократии. Из этого следует, что американская модель не просто одна из возможных, а в некотором смысле нормативная для всего человечества.

После холодной войны эти установки получают институциональное оформление в концепции «глобального лидерства». США начинают позиционировать себя как «незаменимая нация» (indispensable nation), без которой невозможно поддержание мирового порядка. В этой логике американское доминирование перестает восприниматься как гегемония и приобретает статус функциональной необходимости. Роберт Каган прямо формулирует эту позицию, описывая мир без американского лидерства как «джунгли», возвращение к состоянию хаоса [Kagan, 2018]. Подобная аргументация воспроизводит классическую имперскую схему: собственные интересы представляются как условие существования порядка как такового.

Анализ, предложенный Уолтером Расселом Мидом, позволяет уточнить внутреннюю структуру этой идеологии. Выделяя гамильтонианскую, джефферсонианскую, джексонианскую и вильсонианскую традиции, Мид показывает, что именно вильсонианский универсализм — стремление к распространению демократических институтов и либеральных ценностей — становится доминирующим [Mead, 2002]. Однако этот универсализм не отменяет национальных интересов, а переплетает их с моральной риторикой, делая их трудноразличимыми.

Сопоставление англосаксонского глобализма с другими имперскими проектами — римским, французским, советским, китайским — позволяет выявить его специфические черты. Все эти проекты в той или иной степени прибегали к универсализации собственных ценностей: Pax Romana, mission civilisatrice, пролетарский интернационализм. Однако англосаксонская версия отличается особой степенью институциональной и когнитивной сложности.

Во-первых, она опирается на либеральный дискурс. Права человека, свобода, демократия — категории, обладающие высокой нормативной привлекательностью, — используются как язык глобального порядка. Это создает ситуацию, в которой критика данного проекта автоматически интерпретируется как отказ от самих этих ценностей.

Во-вторых, англосаксонский глобализм имеет децентрализованный характер. Он реализуется не столько через прямое государственное управление, сколько через сеть институтов: университеты, think-tank'и, НКО, цифровые платформы, финансовые организации. Такая структура делает его менее видимым и одновременно более устойчивым. В-третьих, решающую роль играет когнитивная гегемония. Контроль над ключевыми институтами производства знания — научными журналами, базами данных, образовательными стандартами — позволяет не просто продвигать определенные идеи, но и задавать критерии того, что считается знанием. В этом смысле речь идет не о конкуренции теорий, а о контроле над самой возможностью теоретизирования.

Наконец, лингвистическое доминирование английского языка создает дополнительный уровень асимметрии. Язык становится не только средством

коммуникации, но и фильтром доступа к знанию. Все, что не вписывается в англоязычное пространство, оказывается маргинализированным или требует адаптации, что неизбежно влечет за собой изменение содержания.

В совокупности эти элементы формируют систему, в которой национальный проект приобретает универсалистскую форму, а универсализм — национальное содержание. Именно это двойственное устройство и делает англосаксонский глобализм столь эффективным инструментом когнитивного захвата, требующим отдельного анализа в контексте институционально-рентной модели.

7.2. Институциональная архитектура когнитивного доминирования

Вопрос о том, каким образом англосаксонский глобализм воспроизводит свое доминирование, требует перехода от уровня идеологии к уровню институтов. Если в предыдущем разделе была показана логика универсализации партикулярного, то теперь необходимо раскрыть ту институциональную инфраструктуру, которая делает эту универсализацию устойчивой, самовоспроизводящейся и практически неоспоримой. Речь идет о сложной, многоуровневой системе, в которой образование, наука, экспертные сети, финансовые институты и цифровые платформы образуют взаимосвязанный контур когнитивной гегемонии.

Ключевой особенностью этой архитектуры является ее непрямой характер. Доминирование не осуществляется через явное навязывание норм; оно реализуется через установление стандартов, критериев оценки и процедур признания. Именно поэтому оно столь эффективно: оно действует не как внешнее давление, а как внутренняя логика «правильного» действия.

Центральное место в этой системе занимает образовательная и академическая инфраструктура. Глобальные рейтинги университетов — QS, Times Higher Education, ARWU — выступают не просто инструментами сравнения, но механизмами нормирования. Их устойчивое воспроизводство одной и той же иерархии, в которой доминируют университеты США и Великобритании, формирует представление о географии «высшего знания». При этом методологические основания этих рейтингов — акцент на публикациях в англоязычных журналах, репутационные опросы, ориентированность на интернационализацию — системно воспроизводят преимущества англосаксонской модели [Hazelkorn, 2011]. Университеты, ориентированные на национальные задачи и работающие на иных языках, оказываются структурно дисквалифицированными.

Не менее значимым является контроль над каналами научной коммуникации. Базы данных Web of Science и Scopus выполняют функцию не

только учета, но и селекции знания. Они определяют, какие тексты считаются частью «мировой науки», а какие — локальными и второстепенными. В результате возникает своеобразный эффект замкнутого круга: чтобы быть признанным, исследователь должен публиковаться в журналах, которые уже признаны, а признанными считаются преимущественно англоязычные издания с западными редакционными коллегиями. Это приводит к стандартизации тематики, методов и даже стиля мышления. Исследователь из периферии вынужден адаптироваться к ожиданиям внешнего центра, что постепенно трансформирует и саму структуру научного поиска.

Особую роль играет образовательная миграция элит. Обучение в ведущих университетах США и Великобритании становится не просто этапом профессиональной подготовки, а механизмом глубокой когнитивной социализации. Будущие политики, чиновники, экономисты и эксперты усваивают определенный способ постановки вопросов, систему авторитетов и критерии рациональности. Возвращаясь в свои страны, они переносят эти рамки в национальные институции, зачастую не осознавая их контекстуальной ограниченности. В этом проявляется один из наиболее устойчивых каналов когнитивного воспроизводства.

Следующий уровень институциональной архитектуры образуют think-tank'и, грантовые сети и международные организации. Аналитические центры вроде Chatham House, Brookings Institution, Council on Foreign Relations формируют не только экспертные оценки, но и сам язык обсуждения глобальных проблем. Их доклады, рекомендации и сценарии становятся основой для политических решений и медийных интерпретаций. При этом формальная независимость этих структур не отменяет их включенности в более широкую систему интересов и ценностных ориентиров англосаксонского мира.

Грантовая инфраструктура усиливает этот эффект. Финансирование исследований, образовательных программ и проектов гражданского общества через фонды и международные организации формирует зависимость от внешних приоритетов. Тематика исследований, используемые методы, даже формулировка проблем во многом определяются логикой доноров. Концепция «мягкой силы», разработанная Джозефом Найем, позволяет увидеть в этом не побочный, а системный эффект: влияние осуществляется через привлекательность и институциональные стимулы, а не через принуждение [Nye, 2004].

Международные финансовые институты — МВФ, Всемирный банк — добавляют к этому экономическое измерение. Их программы и рекомендации основаны на определенной теоретической парадигме, которая в 1990-е годы получила название «Вашингтонского консенсуса». Условность предоставления кредитов делает эту парадигму практически обязательной для

стран-заемщиков. Критика, представленная, в частности, Джозефом Стиглицем, показывает, что подобная политика нередко игнорирует институциональную специфику и приводит к деструктивным последствиям [Stiglitz, 2002]. Однако даже эта критика редко ставит под сомнение саму структуру глобального знания, в рамках которой формируются эти рекомендации.

Третьим ключевым элементом архитектуры выступает медийно-цифровая среда. Глобальные англоязычные медиа формируют повестку, в рамках которой интерпретируются мировые события. Их влияние выходит за пределы информационного поля, поскольку они задают категории описания и оценочные стандарты. Даже национальные дискуссии часто ведутся в терминах, заимствованных из этого глобального медиапространства.

Цифровые платформы усиливают этот эффект, переводя его на уровень инфраструктуры. Контроль над поисковыми системами, социальными сетями, облачными сервисами означает контроль над потоками информации и внимания. Модель «надзорного капитализма», описанная Шошаной Зубофф, показывает, что данные пользователей становятся источником ренты, аккумулируемой в центрах цифровой экономики [Zuboff, 2019]. Однако не менее важно то, что эти платформы формируют когнитивную среду, в которой происходит восприятие реальности.

Алгоритмическая персонализация создает «пузыри фильтров», ограничивая доступ к альтернативным точкам зрения и усиливая когнитивную сегментацию общества [Pariser, 2011]. Это подрывает возможность формирования общего публичного пространства, необходимого для гражданского патриотизма, и делает общество более уязвимым для внешнего влияния.

Наконец, важнейшим элементом архитектуры выступают рейтинги, индексы и стандарты. Кредитные рейтинги, индексы качества управления, показатели «свободы» и «прозрачности» выполняют функцию глобального измерителя. Они создают иллюзию объективности, в то время как их методология часто основана на определенных ценностных предпосылках. Влияние этих индикаторов огромно: они определяют стоимость заимствований, инвестиционные потоки, международную репутацию стран.

Технические стандарты, разрабатываемые международными организациями, дополняют эту систему, закрепляя определенные технологические и институциональные решения как универсальные. Хотя формально процесс их разработки является многосторонним, реальные возможности влияния распределены неравномерно, что позволяет развитым странам продвигать собственные решения как глобальные.

В совокупности все эти элементы образуют сложную и взаимосвязанную систему, в которой когнитивное доминирование воспроизводится через институциональные процедуры, а не через прямое давление. Именно эта

система превращает англосаксонский глобализм из идеологии в структурную реальность, задающую рамки возможного для остальных участников мировой экономики.

Переход от анализа идеологии к анализу институтов позволяет увидеть, что англосаксонский глобализм удерживает свое доминирование не столько за счет прямого давления, сколько благодаря сложной системе воспроизводства стандартов, норм и критериев. Эта система действует через множество каналов, которые в совокупности формируют устойчивую инфраструктуру когнитивной гегемонии. Ее специфика состоит в том, что она задает не только ответы, но и сами вопросы — определяет, что считать проблемой, что — решением, а что — отклонением от нормы.

Одним из ключевых элементов этой архитектуры является образовательная и академическая сфера. Здесь доминирование проявляется прежде всего через систему глобальных рейтингов университетов (QS, Times Higher Education, ARWU), которые выполняют не только описательную, но и нормативную функцию. Они формируют представление о том, где находится «центр знания» и какие институциональные формы следует считать образцовыми. Методологические основания этих рейтингов — акцент на англоязычных публикациях, репутационные опросы, интернационализация — системно воспроизводят преимущества англосаксонской модели [Hazelkorn, 2011].

Внутри этой системы можно выделить три ключевых механизма когнитивного воздействия:

1. Рейтинговая иерархизация университетов. Постоянное присутствие англосаксонских университетов на вершине рейтингов создает устойчивую когнитивную установку: «лучшее образование» и «лучшая наука» локализованы именно там. Это влияет на решения студентов, государств и инвесторов.
2. Контроль над научной коммуникацией. Базы данных Web of Science и Scopus фактически определяют границы «мировой науки». Ученые вынуждены писать на английском языке, адаптировать темы и методы к ожиданиям западных редакторов и рецензентов, а также встраиваться в уже существующие теоретические рамки. Это приводит к стандартизации знания и постепенной утрате интеллектуальной автономии.
3. Социализация элит через образование. Обучение в университетах США и Великобритании формирует не только профессиональные навыки, но и когнитивные установки. Возвращаясь в национальные институты, выпускники воспроизводят усвоенные модели мышления, зачастую не подвергая их критической рефлексии.

Следующий уровень архитектуры связан с деятельностью think-tank'ов, грантовых программ и международных организаций. Их влияние менее заметно, но не менее системно. Аналитические центры (Chatham

House, Brookings, CFR и др.) формируют экспертный дискурс, задавая язык обсуждения глобальных проблем. Их доклады и рекомендации становятся частью политической повестки и тиражируются медиа.

Грантовая инфраструктура усиливает этот эффект, формируя зависимость от внешних приоритетов. Здесь также можно выделить несколько устойчивых механизмов:

1. Финансирование исследований и проектов. Тематика и методология исследований во многом определяются логикой доноров, что ограничивает автономию научного поиска.
2. Формирование экспертных сетей. Через гранты и программы обмена создаются устойчивые сообщества специалистов, ориентированных на определенные когнитивные рамки.
3. Экспорт институциональных решений. Международные организации предлагают «готовые пакеты реформ», которые воспринимаются как универсальные, несмотря на их контекстуальную обусловленность.

Особую роль играют международные финансовые институты — МВФ и Всемирный банк. Их влияние основано на механизме условности: доступ к ресурсам зависит от проведения определенной политики. Эта политика опирается на конкретную экономическую парадигму, которая, как показано в критических работах [Stiglitz, 2002], не всегда учитывает национальную специфику, но при этом закрепляется как универсальная.

Третьим крупным блоком институциональной архитектуры выступают медиа и цифровые платформы. Глобальные англоязычные медиа формируют повестку дня и интерпретационные рамки, через которые воспринимаются мировые события. Их влияние заключается не только в распространении информации, но и в определении того, какие категории считать значимыми.

Цифровые платформы переводят это влияние на инфраструктурный уровень. Здесь можно выделить три ключевых аспекта:

1. Контроль над потоками информации. Поисковые системы, социальные сети и видеохостинги определяют, какой контент становится видимым.
2. Алгоритмическая селекция и «пузыри фильтров». Персонализация контента создает замкнутые информационные среды, усиливая когнитивную сегментацию общества [Pariser, 2011].
3. Экстракция и концентрация данных. Данные пользователей становятся источником ренты, аккумулируемой в центрах цифровой экономики [Zuboff, 2019].

Наконец, важнейшую роль играют рейтинги, индексы и стандарты, которые формируют систему глобального измерения. Их влияние проявляется через следующие механизмы:

1. Кредитные рейтинги. Оценки Moody’s, S&P и Fitch напрямую влияют на стоимость заимствований и инвестиционные потоки.

2. Индексы качества управления. Показатели Всемирного банка, Transparency International и других организаций задают стандарты «хорошего управления», несмотря на их методологическую спорность.

3. Технические и профессиональные стандарты. Международные нормы закрепляют определенные технологические решения как универсальные, ограничивая пространство альтернатив.

В совокупности эта институциональная архитектура образует систему, в которой когнитивное доминирование воспроизводится через стандарты, процедуры и инфраструктуры. Ее сила заключается в том, что она не навязывает решения напрямую, а формирует условия, при которых альтернативные решения становятся маловероятными или даже немыслимыми.

7.3. Кейс: Болонский процесс и его последствия для периферийных академических систем

Рассмотренные ранее механизмы когнитивного доминирования приобретают особую наглядность при анализе институциональных кейсов, в которых нормативные установки, организационные формы и когнитивные рамки соединяются в единую систему трансформации. Болонский процесс в этом отношении представляет собой один из наиболее показательных примеров: он демонстрирует, как под риторикой интеграции и повышения качества происходит глубокая перестройка образовательных систем, затрагивающая не только организационные формы, но и саму структуру производства знания.

Болонский процесс, начатый в 1999 году подписанием Болонской декларации, был задуман как проект формирования общеевропейского пространства высшего образования. Его официальные цели — повышение мобильности студентов и преподавателей, обеспечение сопоставимости квалификаций и усиление глобальной конкурентоспособности европейского образования — обладают высокой степенью нормативной привлекательности. Именно эта универсалистская риторика во многом обеспечила широкое принятие процесса различными странами.

Институциональная реализация этих целей строится вокруг нескольких ключевых инструментов, которые постепенно приобрели обязательный характер. Во-первых, введение трехуровневой системы образования (бакалавр — магистр — доктор), призванной заменить разнообразные национальные модели. Во-вторых, внедрение Европейской системы перевода и накопления кредитов (ECTS), формализующей образовательный процесс и делающей его сопоставимым. В-третьих, использование унифицированного приложения к диплому, обеспечивающего прозрачность квалификаций. В-четвертых, создание систем обеспечения качества, основанных на стандартизированных процедурах внешней оценки и аккредитации.

На уровне формальной логики эти инструменты выглядят как нейтральные и технические. Однако их совокупное действие приводит к глубокой трансформации академической среды, меняя не только институциональные формы, но и критерии легитимности знания.

С позиций когнитивного суверенитета Болонский процесс вызывает ряд принципиальных вопросов. Прежде всего, обращает на себя внимание тенденция к унификации, сопровождающаяся утратой национального разнообразия. Несмотря на декларации о гибкости, на практике формируется единая модель высшего образования, структурно близкая к англосаксонской системе. Национальные традиции — такие как российский специалитет, немецкая система Diplom или французские grandes écoles — оказываются либо вытесненными, либо маргинализированными. Это означает не просто институциональное изменение, но и ослабление уникальных интеллектуальных традиций, сложившихся в конкретных исторических контекстах.

Второе направление критики связано с процессом формализации и менеджериализации университетов. Введение кредитных систем, компетентностных моделей и процедур обеспечения качества ведет к смещению акцента с содержания образования на его измеримость. Университет начинает функционировать как управляемая организация, ориентированная на показатели эффективности, отчетность и соответствие стандартам. В этой логике научное творчество и интеллектуальная автономия уступают место процедурной рациональности. Возникает феномен, который в современной литературе обозначается как «академический менеджериализм» — подчинение университетской жизни логике административного контроля и количественных метрик.

Не менее значимым последствием становится усиление структурных асимметрий внутри образовательного пространства. Формально расширяя мобильность, Болонский процесс создает условия для систематического перетока человеческого капитала из периферии в центр. Наиболее талантливые студенты и исследователи стремятся в университеты с более высокой репутацией, лучшими ресурсами и более широкими карьерными возможностями. В результате страны периферии оказываются в положении доноров, инвестирующих в подготовку кадров, которые затем реализуют свой потенциал в других институциональных контекстах. Этот процесс усиливается конкуренцией за позиции в глобальных рейтингах и доступ к грантовым ресурсам, формируя устойчивую иерархию академических систем.

Особое место в этой динамике занимает лингвистическая асимметрия. Несмотря на формальное признание многоязычия, фактическим языком академической коммуникации становится английский. Это создает системное преимущество для англоязычных стран и одновременно повышает издержки для всех остальных. Переход на англоязычные программы, публикации и образовательные форматы требует значительных ресурсов и ведет

к постепенному вытеснению национальных языков из научной и образовательной сферы. В долгосрочной перспективе это означает не только изменение языка коммуникации, но и трансформацию самих когнитивных рамок, в которых производится знание.

Хотя Болонский процесс институционально оформлен как европейская инициатива, его эффекты необходимо рассматривать в более широком контексте англосаксонского глобализма. Он объективно способствует распространению образовательной модели, структурно близкой к англосаксонской, и усиливает позиции англоязычных университетов в глобальной системе. Критерии качества, используемые в рамках Болонского процесса, во многом совпадают с критериями глобальных рейтингов, где доминируют университеты США и Великобритании. Английский язык закрепляется в качестве lingua franca академической среды. Европейское образовательное пространство интегрируется в более широкие сети производства знания, центрированные вокруг англосаксонского ядра.

В результате Болонский процесс оказывается встроенным в институциональную архитектуру когнитивного доминирования. Его действие не носит принудительного характера; напротив, оно реализуется через стандартизацию, которая делает альтернативные модели менее легитимными и менее конкурентоспособными. Именно в этом заключается его специфическая сила: он не разрушает национальные системы напрямую, а постепенно перестраивает их внутреннюю логику, подчиняя ее внешним критериям.

Для периферийных академических систем это означает риск утраты когнитивной автономии — способности самостоятельно определять приоритеты исследований, образовательные цели и критерии научной значимости. В долгосрочной перспективе речь идет о трансформации механизмов воспроизводства элит: университет перестает быть институтом формирования национально ориентированного знания и превращается в элемент глобальной системы, в которой периферия занимает подчиненное положение.

7.4. Выводы

Проведенный анализ англосаксонского глобализма позволяет не просто суммировать отдельные наблюдения, но выстроить целостное представление о том, как в современном мире соединяются власть, знание и институциональный дизайн. Речь идет о системе, в которой когнитивное измерение становится ключевым элементом глобальной иерархии, а контроль над производством и легитимацией знаний — центральным ресурсом доминирования.

Англосаксонский глобализм предстает не как нейтральный или естественный процесс глобализации, а как специфическая форма национализма, обладающая универсалистской оболочкой. Его отличительная черта

заключается в способности представлять частные интересы, ценности и институты ядра — прежде всего США и Великобритании — как универсальные и общечеловеческие. Это не отменяет наличия реальных глобальных процессов, но задает рамку их интерпретации: глобализация оказывается не равномерным обменом, а асимметричной интеграцией, структурированной вокруг определенного центра.

Исторические основания этой модели укоренены в имперском опыте. Британская риторика «цивилизаторской миссии» и американские доктрины «явного предначертания», «исключительности» и «глобального лидерства» формируют преемственную линию, в которой универсализация партикулярного становится устойчивым инструментом легитимации. В этой логике собственные интересы не просто защищаются, но переосмысляются как условие поддержания мирового порядка. Именно поэтому сопротивление им легко интерпретируется как отклонение от нормы или угроза «глобальному благу».

Когнитивное доминирование не существует в абстракции; оно опирается на сложную институциональную архитектуру. Ее ключевые элементы взаимосвязаны и взаимно усиливают друг друга.

Во-первых, это доминирование в сфере образования и науки — через глобальные рейтинги университетов, контроль над научными журналами и базами данных, а также через систему подготовки элит в ведущих англосаксонских университетах.

Во-вторых, это разветвленная сеть think-tank'ов, грантовых программ и международных организаций, формирующих экспертную повестку и предлагающих готовые решения.

В-третьих, это контроль над глобальными медиа и цифровыми платформами, которые задают рамки интерпретации событий и управляют вниманием миллиардов людей.

В-четвертых, это власть рейтинговых агентств и международных финансовых институтов, способных через формально-«технические» оценки и условия кредитования направлять экономическую политику государств. В совокупности эти элементы образуют не жесткую иерархию, а сеть, в которой власть распределена, но при этом структурно центрирована.

Рассмотренные кейсы — реформы науки и образования в России 1990–2000-х годов, а также Болонский процесс — демонстрируют, каким образом эта архитектура действует на практике. Через риторику модернизации, интеграции и повышения качества происходит внедрение внешних когнитивных и институциональных стандартов. Эти процессы редко воспринимаются как навязывание; напротив, они часто воспринимаются как единственно возможный путь развития. Именно в этом проявляется специфика когнитивного захвата: он действует не через принуждение, а через

формирование представлений о нормальности и желательности. В результате подрывается когнитивный суверенитет — способность общества самостоятельно определять приоритеты, критерии и цели развития.

В этих условиях формирование гражданского патриотизма и элиты служения оказывается невозможным без осознания описанных механизмов. Речь идет не о противопоставлении «своего» и «чужого» в упрощенном националистическом смысле, а о восстановлении способности к автономному мышлению и критическому отбору внешних влияний. Когнитивный суверенитет становится не идеологической позицией, а функциональным условием развития: без него элиты неизбежно оказываются встроенными в чужие когнитивные рамки, а общество теряет способность к долгосрочной координации и солидарности.

Следующая глава логически продолжает эту линию анализа, перенося ее в наиболее динамичную и одновременно наиболее неопределенную сферу — сферу искусственного интеллекта. Развитие систем общего искусственного интеллекта (AGI) и усиление платформенной власти создают качественно новые формы когнитивного воздействия и контроля, ставя под вопрос не только институциональные, но и антропологические основания когнитивного суверенитета.

Глава 8. AGI, платформенная власть и будущее когнитивного суверенитета

В предыдущих главах были последовательно раскрыты механизмы когнитивного захвата, характерные для индустриальной и ранней информационной эпохи: контроль над образованием, наукой, медиа и финансовыми институтами. Однако в XXI веке происходит качественный сдвиг, связанный с развитием искусственного интеллекта и формированием платформенной экономики. Эти процессы не просто усиливают ранее описанные механизмы — они радикально изменяют саму природу власти над знанием, создавая новые формы зависимости, новые типы ренты и новые линии конфликта.

Речь идет о переходе от контроля над каналами распространения информации к контролю над самим процессом ее производства, интерпретации и использования. В этом смысле искусственный интеллект, особенно в своей приближающейся форме общего интеллекта (AGI), становится центральным элементом новой когнитивной архитектуры мира.

8.1. Искусственный интеллект общего типа: угрозы и возможности

До недавнего времени развитие искусственного интеллекта носило преимущественно специализированный характер. Узкие системы были способны эффективно решать строго определенные задачи — от распознавания изображений до оптимизации логистических цепочек — но не обладали универсальностью человеческого мышления. Их применение, при всей масштабности, оставалось встроенным в существующие институциональные рамки.

Ситуация изменилась с появлением больших языковых моделей (LLM) — таких как GPT, Claude, Gemini, Llama. Эти системы демонстрируют качественно новый уровень когнитивной функциональности: способность к генерации текста, анализу, обобщению, интерпретации и даже к элементарным формам рассуждения. Они не просто обрабатывают информацию — они начинают участвовать в ее создании.

Ключевые свойства этих систем имеют прямое отношение к проблеме когнитивного суверенитета.

Во-первых, это способность к генерации контента, практически неотличимого от человеческого. Тексты, изображения, аудио- и видеоматериалы могут создаваться в неограниченных объемах, что радикально изменяет информационную среду. Возникает ситуация, которую можно охарактеризовать как «пост-капча-реальность»: исчезает надежный критерий различения человеческого и машинного происхождения контента.

Во-вторых, модели демонстрируют способность к аналитической работе: они могут структурировать аргументы, выявлять логические связи, формировать интерпретации. Это делает их инструментами не только для автоматизации, но и для поддержки принятия решений — в том числе в политике, экономике и управлении.

В-третьих, мультимодальность современных систем позволяет им работать с различными типами данных — текстом, изображениями, звуком, видео — создавая универсальную среду обработки информации.

В-четвертых, масштабируемость и скорость обработки информации выводят аналитические возможности на принципиально иной уровень. Объемы данных, ранее недоступные для человеческого анализа, становятся операционально управляемыми.

Наконец, важным свойством остается проблема «галлюцинаций» — склонности моделей генерировать правдоподобную, но ложную информацию. Это не просто технический недостаток, а фундаментальный вызов для эпистемической устойчивости.

Совокупность этих характеристик позволяет говорить о переходе к новому этапу — этапу, на котором искусственный интеллект становится не инструментом, а участником когнитивных процессов.

Развитие AGI-подобных систем создает ряд взаимосвязанных угроз для когнитивного суверенитета.

Прежде всего, речь идет о монополизации технологии. Разработка передовых моделей требует концентрации ресурсов — вычислительных, финансовых, кадровых — доступных лишь ограниченному числу акторов. Это ведет к формированию новой зависимости: страны, не обладающие собственными системами ИИ, вынуждены использовать внешние решения, тем самым делегируя часть когнитивных функций.

Эта зависимость носит не только технологический, но и смысловой характер. Используемые модели определяют не только ответы, но и способы постановки вопросов, логические структуры, интерпретационные рамки. В предельном случае это означает частичную утрату способности к автономному мышлению на институциональном уровне.

Вторая угроза связана с эпистемическим загрязнением. Массовая генерация контента приводит к росту информационного шума и снижению доли проверяемого знания. Верификация становится затратной, доверие к источникам — подорванным. Возникает ситуация, в которой различение истины и лжи требует непропорциональных усилий.

Это имеет прямые последствия для гражданского патриотизма, который предполагает наличие разделяемой картины реальности. Без такой картины невозможны ни координация действий, ни формирование коллективных целей.

Третье направление угроз — алгоритмическая манипуляция. AGI позволяет персонализировать информационное воздействие в масштабах, ранее недостижимых: адаптация сообщений под психологические профили, создание синтетических акторов (ботов), динамическая оптимизация стратегий воздействия. Возникает новая форма когнитивной войны, в которой воздействие осуществляется не через убеждение, а через структурное управление вниманием и восприятием.

Четвертая угроза — концентрация ИИ-ренты. Контроль над моделями, инфраструктурой и данными создает новую форму экономической и когнитивной ренты, обладающей тенденцией к сверхконцентрации. Периферийные страны оказываются в положении потребителей, оплачивающих доступ к технологиям, не участвуя в распределении создаваемой стоимости.

Однако ограничиваться анализом угроз было бы методологически недостаточно. AGI открывает и значительные возможности для укрепления когнитивного суверенитета.

Ключевым фактором здесь выступает контроль. При наличии собственных разработок и институциональных механизмов управления искусственный интеллект может стать инструментом стратегического развития.

Во-первых, национальные системы ИИ способны обеспечить глубокую аналитическую поддержку принятия решений, учитывающую специфические условия и приоритеты страны.

Во-вторых, они могут использоваться для создания образовательных и экспертных платформ, адаптированных к национальному языку, культуре и институциональному контексту, тем самым снижая зависимость от внешних когнитивных центров.

В-третьих, ИИ может стать инструментом защиты информационного пространства — выявления дезинформации, анализа сетевых кампаний, обеспечения эпистемической безопасности.

В-четвертых, технологии ИИ позволяют существенно расширить доступ к знаниям и экспертизе, снижая барьеры для участия граждан в общественной и экономической жизни.

Наконец, важным направлением является использование ИИ для повышения прозрачности и подотчетности власти — через автоматизированный анализ государственных процессов, выявление аномалий и контроль за исполнением решений.

Таким образом, AGI представляет собой двойственный феномен. Он одновременно усиливает риски когнитивного захвата и создает инструменты для его преодоления. Решающим фактором становится институциональная рамка, в которой происходит его внедрение и использование.

Если контроль над ИИ сосредоточен вне национальной системы, он становится инструментом зависимости. Если же он встроен в суверенную институциональную архитектуру, он способен стать ресурсом развития, усиливающим когнитивную автономию общества и государства.

8.2. Платформенный капитализм и алгоритмическое управление

Параллельно с развитием систем искусственного интеллекта происходит не менее значимый процесс — трансформация самой логики капитализма. Если индустриальный капитализм был основан на контроле над средствами производства, а финансовый — на контроле над потоками капитала, то современная фаза все в большей степени определяется контролем над цифровыми инфраструктурами взаимодействия. Платформа в этом контексте выступает не просто технологическим инструментом, а новой формой организации экономической и, что особенно важно для нашей темы, когнитивной власти.

Платформа представляет собой цифровую среду, которая соединяет различные группы пользователей — производителей и потребителей, разработчиков и клиентов, рекламодателей и аудиторию — и извлекает доход из управления этим взаимодействием. В отличие от классических фирм, создающих товары или услуги, платформы создают условия, в которых другие акторы взаимодействуют, и именно этот контроль над условиями становится источником ренты.

Как показывает Ник Срничек (Srnicek, 2017), платформенный капитализм включает несколько типов платформ — рекламные, облачные, промышленные, продуктовые, агрегаторные, — однако их объединяет ключевая характеристика: они занимают стратегические позиции в цифровой экономике, превращаясь в узлы, через которые проходят данные, коммуникации и транзакции. Контроль над этими узлами позволяет извлекать устойчивую ренту, не обязательно связанную с производством в традиционном смысле.

Особенно ярко эта логика проявляется в модели, описанной Шошаной Зубофф (Zuboff, 2019) как «надзорный капитализм». В рамках этой модели пользовательские данные становятся сырьем, из которого извлекается поведенческая рента. Платформы предлагают «бесплатные» сервисы, но на самом деле получают доступ к поведенческим паттернам пользователей, которые затем превращаются в коммерческий продукт — прогнозы поведения, продаваемые рекламодателям. Здесь возникает принципиально новая форма ренты: она извлекается не из редкости природных ресурсов или институциональных привилегий, а из асимметрии знания и контроля над данными.

Однако экономическое измерение платформенной власти — лишь часть картины. Не менее важным является переход к алгоритмическому управлению как новой форме координации и контроля.

Алгоритмы сегодня определяют практически все аспекты цифрового взаимодействия: от того, какую информацию получает пользователь, до того, какие решения он склонен принимать. Новостные ленты, поисковая выдача, рекомендации товаров и услуг, динамическое ценообразование, маршрутизация — все это осуществляется через алгоритмические системы, которые выступают в роли невидимых регуляторов поведения. Эта форма управления обладает рядом принципиальных особенностей.

Во-первых, она характеризуется непрозрачностью. Алгоритмы, особенно основанные на машинном обучении, функционируют как «черные ящики». Их логика недоступна для внешнего наблюдения, а иногда и для самих разработчиков. Это означает, что решения, оказывающие существенное влияние на жизнь людей, не подлежат осмысленному публичному контролю.

Во-вторых, возникает радикальная асимметрия власти. Платформы аккумулируют огромные массивы данных о поведении пользователей, в то время как сами пользователи практически не имеют доступа к информации

о принципах работы платформ. Эта асимметрия позволяет проводить масштабные поведенческие эксперименты, оптимизируя алгоритмы с точки зрения вовлеченности, прибыли или иных метрик — без согласия и даже без осознания со стороны пользователей.

В-третьих, алгоритмическая власть лишена демократической легитимности. Платформы остаются частными корпорациями, ориентированными на интересы акционеров, однако их решения имеют квазипубличный характер. Они формируют информационную повестку, регулируют допустимость высказываний, влияют на экономические и социальные возможности пользователей. При этом механизмы подотчетности, характерные для государственных институтов, здесь отсутствуют.

В-четвертых, алгоритмическая персонализация ведет к фрагментации публичной сферы. Пользователи оказываются в «пузырях фильтров» (Pariser, 2011), где их информационная среда формируется на основе предыдущего поведения. Это снижает вероятность столкновения с альтернативными точками зрения и подрывает саму возможность формирования общей когнитивной реальности. В условиях, когда граждане не разделяют базовых представлений о фактах и проблемах, становится затруднительным не только политическое согласование, но и элементарная социальная координация.

В совокупности эти характеристики позволяют говорить о формировании новой формы власти — алгоритмической, распределенной и в значительной степени невидимой. Она не заменяет государственную власть, но взаимодействует с ней, часто опережая ее по скорости и масштабам воздействия.

В этих условиях когнитивный суверенитет оказывается неотделимым от платформенного суверенитета. Способность общества сохранять автономию мышления и целеполагания напрямую зависит от того, кто контролирует инфраструктуры, через которые формируются знания, смыслы и поведенческие паттерны.

Платформенный суверенитет включает несколько ключевых измерений.

1. Правовое регулирование. Государство должно обладать инструментами установления правил для платформ, функционирующих на его территории. Это включает защиту персональных данных, требования к прозрачности алгоритмов, механизмы противодействия дезинформации, а также налогообложение цифровых гигантов. Европейский опыт (GDPR, DSA) показывает, что даже глобальные корпорации могут быть частично подчинены национальным и наднациональным правовым режимам.

2. Создание национальных альтернатив. Полная зависимость от глобальных платформ означает утрату контроля над ключевыми каналами коммуникации и экономики. Поэтому развитие собственных цифровых экосистем — поисковых систем, социальных сетей, облачных сервисов, маркетплейсов — становится стратегической задачей. Успешные примеры

(Яндекс, Naver и др.) показывают, что такая стратегия возможна, но требует долгосрочной институциональной поддержки.

3. Инфраструктурная независимость. Контроль над данными невозможен без контроля над физической инфраструктурой их хранения и обработки. Локализация данных, развитие национальных дата-центров, участие в производстве критически важного оборудования — все это элементы, без которых платформенный суверенитет остается декларативным.

4. Индивидуальный уровень — цифровая грамотность. Даже при наличии регулирования и национальных платформ ключевым элементом остается пользователь. Способность понимать принципы работы алгоритмов, критически оценивать информацию, осознавать механизмы манипуляции становится базовой компетенцией современного гражданина. Без этого любые институциональные меры будут ограничены в эффективности.

Платформенный капитализм, таким образом, создает новую конфигурацию власти, в которой экономическое, информационное и когнитивное измерения сливаются. Контроль над платформами означает контроль над условиями, в которых формируются знания, принимаются решения и воспроизводятся социальные структуры. В этом смысле борьба за когнитивный суверенитет в XXI веке неизбежно становится борьбой за платформенный суверенитет — за способность общества и государства определять правила функционирования цифровой среды, в которой разворачивается современная жизнь.

8.3. Национальные стратегии цифрового суверенитета: сравнительный анализ

Развитие платформенного капитализма и систем искусственного интеллекта не является нейтральным технологическим процессом: оно неизбежно вызывает ответные стратегии со стороны государств и региональных объединений. Эти стратегии отражают не только уровень экономического и технологического развития, но и более глубокие институциональные и ценностные установки — представления о соотношении свободы и контроля, рынка и государства, открытости и автономии.

Сравнительный анализ показывает, что в современном мире формируются несколько устойчивых моделей цифрового суверенитета, каждая из которых предлагает собственный способ решения дилеммы между интеграцией в глобальные сети и сохранением контроля над ними.

Европейский Союз выстраивает свою стратегию вокруг регулирования как ключевого инструмента. Не обладая собственными платформами глобального масштаба, ЕС делает ставку на установление правил игры, обязательных для всех участников цифрового рынка. Центральное место занимает GDPR (General Data Protection Regulation), вступивший в силу в 2018

году. Он закрепляет право граждан на контроль над персональными данными, вводит строгие требования к их обработке и предусматривает значительные санкции за нарушения. Важно, что GDPR вышел за пределы европейского пространства, фактически став глобальным стандартом, к которому вынуждены адаптироваться международные компании.

Дополнительным шагом стали акты DMA (Digital Markets Act) и DSA (Digital Services Act), принятые в 2022 году. Первый направлен на ограничение рыночной власти крупнейших платформ — так называемых «привратников» (gatekeepers), второй — на регулирование контента и повышение прозрачности алгоритмов. Параллельно ЕС инвестирует в развитие собственной инфраструктуры через инициативы вроде Gaia-X, стремясь создать альтернативу американским облачным сервисам.

Сильная сторона этой модели заключается в защите прав граждан и стремлении встроить технологии в рамки демократического контроля. Однако ее ограничения очевидны: жесткое регулирование может замедлять инновации, а отсутствие собственных технологических гигантов сохраняет зависимость от внешних игроков.

Китайская модель представляет собой противоположный полюс — стратегию максимального суверенитета через контроль. Ее ключевой элемент — так называемый «Великий китайский файрвол», обеспечивающий фильтрацию внешнего интернет-трафика и ограничение доступа к глобальным платформам. На этой основе формируется замкнутая, но высокоразвитая национальная цифровая экосистема, в которой доминируют собственные технологические гиганты — Alibaba, Tencent, Baidu, ByteDance.

Государство активно поддерживает эти компании, одновременно сохраняя жесткий контроль над контентом и алгоритмами. Развитие искусственного интеллекта рассматривается как стратегический приоритет, что закреплено в государственных программах с горизонтом до 2030 года. Дополнительным элементом является система социального кредита, направленная на интеграцию цифровых данных в управление социальным поведением.

Эта модель обеспечивает высокий уровень технологической автономии и быстрый рост национальных компаний, однако сопровождается существенными ограничениями свободы информации и рисками тотального контроля.

Российская стратегия занимает промежуточное положение, сочетая элементы регулирования, инфраструктурного контроля и развития национальных платформ. После 2014 года акцент сместился в сторону импортозамещения в IT-сфере и укрепления контроля над цифровым пространством. Закон о «суверенном Рунете» предусматривает возможность автономного функционирования национального сегмента интернета, включая управление маршрутизацией трафика. Параллельно реализуются меры по локализации данных и регулированию деятельности иностранных платформ.

Важным элементом является развитие собственных цифровых сервисов — поисковых систем, социальных сетей, маркетплейсов. Несмотря на наличие конкурентоспособных решений в отдельных сегментах, сохраняется зависимость от внешних технологий, особенно в области микроэлектроники и передовых ИИ-систем. Это создает структурное напряжение между стремлением к суверенитету и ограниченностью ресурсной базы.

Индийская модель предлагает альтернативный подход, основанный не на изоляции и не на жестком регулировании, а на создании открытой цифровой инфраструктуры. Концепция Digital Public Infrastructure (DPI) предполагает разработку базовых протоколов и платформ, доступных для использования государством, бизнесом и гражданами.

Ключевые элементы этой модели включают систему идентификации Aadhaar, платежную платформу UPI и проект ONDC для электронной коммерции. Эти решения строятся как открытые и интероперабельные системы, что позволяет снижать зависимость от монополий и стимулировать конкуренцию.

Преимущество индийского подхода заключается в сочетании открытости и суверенитета: государство задает инфраструктурные стандарты, но не монополизирует их использование. Однако такая модель требует высокой институциональной способности к управлению сложными системами и несет риски, связанные с безопасностью и приватностью данных.

Сопоставление этих моделей позволяет выделить несколько ключевых параметров, по которым они различаются: степень государственного контроля, уровень открытости, роль национальных компаний, характер взаимодействия с глобальными платформами. Ни одна из моделей не является универсальной или безусловно успешной. Каждая представляет собой компромисс между конкурирующими целями — эффективностью и автономией, инновациями и безопасностью, свободой и контролем.

Для теории когнитивного суверенитета этот сравнительный анализ имеет принципиальное значение. Он показывает, что суверенитет в цифровую эпоху не сводится к простому выбору между открытостью и изоляцией. Речь идет о способности выстраивать институциональные конфигурации, которые позволяют участвовать в глобальных процессах, не утрачивая при этом контроля над ключевыми когнитивными ресурсами.

8.4. ИИ-рента и новое неравенство: кто будет владеть «фабриками смыслов»?

Если в предыдущих разделах речь шла прежде всего о политических и институциональных последствиях развития AGI и платформенной экономики, то теперь необходимо сделать следующий шаг и рассмотреть возни-

кающую здесь структуру распределения. Вопрос об искусственном интеллекте — это не только вопрос технологии, но и вопрос собственности, контроля и присвоения. Кто владеет вычислительными мощностями, данными, моделями и талантами, тот в значительной степени владеет не просто рынком, а инфраструктурой производства знания, интерпретации и решения. Иначе говоря, в XXI веке предметом борьбы становятся уже не только «фабрики» в классическом индустриальном смысле, но и то, что можно назвать «фабриками смыслов».

Для описания этой новой конфигурации необходима более точная категория. В рамках предлагаемой модели ИИ-рента определяется как доход, извлекаемый из контроля над ключевыми элементами цепочки создания, обучения, развертывания и использования систем искусственного интеллекта. Эта рента не является побочным эффектом инновации в шумпетеровском смысле; напротив, она стремится закрепиться и воспроизводиться как устойчивое структурное преимущество. В этом отношении ИИ-рента ближе к классической ренте, чем к предпринимательской прибыли: она возникает не столько из разового технологического прорыва, сколько из способности удерживать контроль над инфраструктурой, без которой остальные участники вынуждены действовать на зависимых условиях.

Здесь можно выделить несколько взаимосвязанных источников извлечения ИИ-ренты.

1. Прежде всего, это вычислительные мощности. Современные модели ИИ, особенно передовые языковые и мультимодальные системы, требуют колоссальных вычислительных ресурсов как на стадии обучения, так и на стадии развертывания. Речь идет не просто о серверах как таковых, а о специализированных чипах, дата-центрах, энергосистемах и облачной инфраструктуре. Контроль над производством высокопроизводительных чипов и над глобальными облачными платформами создает фундаментальное преимущество, которое трудно воспроизвести извне. Более того, в отличие от многих прежних технологических волн, здесь барьер входа изначально чрезвычайно высок. Это означает, что даже при наличии научных кадров и исследовательских амбиций страна или компания, лишенная доступа к вычислительной базе, оказывается в положении догоняющего.

2. Второй источник ИИ-ренты — данные. Искусственный интеллект питается данными так же, как индустриальная экономика когда-то питалась углем, сталью и нефтью. Однако данные — это особый ресурс. Их ценность определяется не физической редкостью, а масштабом, разнообразием, качеством и возможностью соединять различные массивы в единую аналитическую ткань. Поисковые запросы, поведенческие следы в социальных сетях, геолокация, медицинские записи, платежные транзакции, образовательные траектории — все это становится материалом, на котором обуча-

ются модели. Контроль над этими массивами создает не просто конкурентное преимущество, а кумулятивный эффект: лучшие данные позволяют обучать лучшие модели, а лучшие модели привлекают больше пользователей и, следовательно, генерируют еще больше данных. Именно эта спираль делает ИИ-рынок структурно склонным к концентрации.

3. Третий источник — сами алгоритмы и модели. Передовые системы ИИ становятся объектами интеллектуальной собственности, доступ к которым организуется через API, лицензирование, корпоративные подписки и облачные сервисы. Внешне это может выглядеть как обычная коммерциализация технологии, однако по существу речь идет о превращении когнитивной инфраструктуры в объект рентного контроля. Если значительная часть экономики, образования, медицины, управления и безопасности начинает зависеть от решений, принимаемых через такие модели, то плата за доступ к ним приобретает характер не просто рыночной цены, а структурной зависимости. В этом смысле проприетарные модели становятся аналогом критической инфраструктуры, приватизированной немногими акторами.

4. Четвертый источник ИИ-ренты — таланты. Разработка передовых систем требует крайне редкого сочетания компетенций: математических, инженерных, исследовательских, инфраструктурных. Контроль над кадровыми потоками осуществляется через университеты, исследовательские лаборатории, систему грантов, корпоративные компенсации и глобальные миграционные каналы. В результате страны и корпорации, способные концентрировать у себя лучшие кадры, получают дополнительное преимущество, которое затем усиливает их технологическое лидерство. Здесь вновь проявляется эффект самоподдерживающегося цикла: лидеры притягивают таланты, а концентрация талантов усиливает лидерство.

Все эти элементы соединяются в единую систему, и именно это делает ИИ-ренту столь значимой. Она обладает тенденцией к сверхконцентрации не случайно, а по самой логике цифровой экономики. Если в традиционных отраслях еще можно было рассчитывать на более или менее устойчивую множественность игроков, то в сфере ИИ сетевые эффекты и эффект масштаба работают особенно жестко. Модель, которая оказывается чуть лучше конкурентов, быстрее привлекает пользователей, получает больше данных, ресурсов и инвестиций, а затем превращает первоначальное преимущество в трудно преодолимый разрыв. В конечном счете формируются не просто крупные фирмы, а квазимонопольные центры когнитивной власти.

Именно в этом контексте становится понятным образ «фабрик смыслов». В индустриальную эпоху фабрика была пространством, где труд и сырье превращались в материальные товары. В цифровую эпоху аналогичную роль начинают играть комплексы, где данные, вычислительные мощности, алгоритмы и человеческая экспертиза превращаются в интерпретации, рекомендации, прогнозы, решения и нарративы. Эти продукты могут не иметь

вещественной формы, но их социальная и политическая значимость колоссальна. Они определяют, что человек увидит в поисковой выдаче, какой кредитный риск ему будет присвоен, какую образовательную траекторию ему порекомендуют, какую политическую информацию он получит и в каком виде она будет подана.

Владелец такой «фабрики смыслов» контролирует не просто рынок услуг, а инфраструктуру формирования реальности. Именно здесь новое неравенство приобретает по-настоящему исторический масштаб. Если раньше можно было говорить о неравенстве доступа к капиталу или к природным ресурсам, то теперь речь идет о неравенстве доступа к самим механизмам производства осмысленности. Одни акторы производят и поставляют миру алгоритмические интерпретации, другие — лишь потребляют их, не имея возможности влиять на внутреннюю логику их создания.

Из этого вытекает и новая фигура рантье. Это уже не только собственник земли, нефти или лицензии, но и владелец вычислительной инфраструктуры, платформы, модели, массива данных, исследовательской сети. Его доход формируется не только через прямые платежи за доступ к сервисам, но и через бесплатное присвоение данных пользователей, через монетизацию внимания, через косвенное влияние на решения, которое затем может быть конвертировано в экономическую и политическую силу. ИИ-рента поэтому значительно шире обычной платы за технологический продукт: она включает весь спектр выгод, связанных с посредничеством между человеком и миром.

Для периферийных стран эта конфигурация особенно опасна. Если они не обладают собственными «фабриками смыслов», они оказываются в положении цифровых колоний. Их граждане, компании и институты поставляют сырье — данные, поведенческие следы, интеллектуальный труд, — тогда как готовая продукция в виде моделей, алгоритмических сервисов и интерпретационных рамок производится в центре. Тем самым воспроизводится знакомая по истории зависимость, но на качественно новом уровне: вместо вывоза сырья и ввоза машин возникает вывоз данных и ввоз когнитивных решений.

Это неравенство усиливается по мере развития AGI. Чем более универсальными становятся модели, тем больше сфер жизни они охватывают, а следовательно, тем труднее обойтись без доступа к ним. Зависимость становится не только экономической, но и управленческой, культурной, образовательной. В предельном случае страна может обладать политическим суверенитетом и даже промышленной базой, но не обладать когнитивной автономией, поскольку ключевые решения в ее системах будут приниматься или опосредоваться внешними ИИ-инфраструктурами.

Именно поэтому для периферийных стран критически важны стратегии снижения зависимости от ИИ-ренты. Здесь можно выделить несколько

направлений, каждое из которых требует не деклараций, а долгосрочной институциональной воли.

1. Наиболее фундаментальная стратегия — развитие собственных «фабрик смыслов». Речь идет не о символическом присутствии в ИИ-повестке, а о создании полного цикла: от подготовки кадров и фундаментальных исследований до вычислительной инфраструктуры, работы с данными и разработки собственных моделей. Это предполагает инвестиции в образование, науку, национальные школы машинного обучения, центры обработки данных и, по возможности, в микроэлектронику. В противном случае страна обречена оставаться потребителем чужих решений. Особенно важно, что речь должна идти не только о «больших» универсальных моделях, но и о системах, работающих на национальных языках, учитывающих локальные культурные и институциональные контексты.

2. Второе направление — коллективные действия и международная кооперация между периферийными и полупериферийными странами. В одиночку многие государства не способны создать инфраструктуру, сопоставимую с ресурсами глобальных гигантов. Однако кооперация в рамках региональных или межгосударственных объединений может изменить ситуацию. Совместные дата-центры, общие исследовательские программы, координация стандартов, обмен данными и кадрами способны снизить издержки и создать альтернативные центры притяжения. В этом контексте особое значение могут приобрести объединения вроде БРИКС, ШОС, ЕАЭС и иные форматы технологического сотрудничества.

3. Третье направление — умное регулирование. Речь идет не о запретительной реакции на технологию, а о выработке таких правил, которые ограничивают монопольную власть глобальных платформ и одновременно создают пространство для развития собственных игроков. Это включает защиту данных граждан, требования к прозрачности алгоритмов, правила доступа к критической ИИ-инфраструктуре, создание преференций для национальных разработчиков и ограничение наиболее хищнических форм извлечения цифровой ренты. В этом смысле опыт GDPR и DMA в ЕС показывает, что даже крупные внешние платформы могут быть частично поставлены в рамки, хотя одной лишь регуляции без собственной инфраструктуры недостаточно.

4. Четвертое направление связано с открытыми моделями и open-source AI. Именно здесь для периферийных стран открывается, возможно, наиболее реалистичная возможность суверенного движения вперед. Полностью догнать глобальных лидеров в создании крупнейших проприетарных моделей крайне трудно, но использование открытых архитектур, их адаптация под национальные задачи, языки и сектора может существенно снизить за-

висимость. Открытые модели создают пространство для инженерного и исследовательского суверенитета, позволяя строить прикладные решения без полного подчинения внешним поставщикам.

5. Наконец, особое значение имеет ставка на прикладные и нишевые решения. Пытаться конкурировать с глобальными гигантами на их же поле — в создании наиболее масштабных универсальных моделей — для многих стран заведомо проигрышная стратегия. Гораздо более рационален путь, при котором внимание сосредоточено на моделях, обслуживающих конкретные национальные и отраслевые задачи: здравоохранение, аграрный сектор, образование, транспорт, промышленность, правовое администрирование. Здесь локальный контекст, языковая специфика и институциональные знания дают определенные преимущества, которые могут быть превращены в элементы суверенной ИИ-инфраструктуры.

Таким образом, вопрос о том, кто будет владеть «фабриками смыслов», оказывается не риторическим, а центральным политико-экономическим вопросом XXI века. За ним стоит вопрос о распределении не только богатства, но и способности определять реальность. ИИ-рента становится новой осью глобального неравенства, а борьба за снижение зависимости от нее — необходимым условием когнитивного суверенитета, без которого гражданский патриотизм и элита служения рискуют остаться лишь нормативными пожеланиями, не имеющими реальной институциональной опоры.

8.5. Выводы

Проведенный в этой главе анализ позволяет не просто подвести промежуточные итоги, но и зафиксировать фундаментальный сдвиг в самой логике политической экономии современного мира. Речь идет о переходе от экономики ресурсов и институтов к экономике когнитивной инфраструктуры, где ключевым объектом контроля становится не только производство, но и производство смысла, интерпретации и решений.

Развитие AGI и платформенного капитализма формирует качественно новую конфигурацию власти, в которой когнитивное измерение выходит на первый план. Если в предыдущие эпохи доминировали формы власти, основанные на принуждении (военная сила), перераспределении (государство) или накоплении (капитал), то в XXI веке усиливается форма власти, основанная на управлении восприятием, вниманием и мышлением. Это делает угрозы когнитивному суверенитету системными и глубоко встроенными в повседневные практики.

Монополизация AGI означает не просто технологическое неравенство, а асимметрию в способности формировать когнитивные рамки. «Эпистемическое загрязнение» разрушает базовые условия рациональной коммуникации, делая невозможным устойчивое согласование позиций внутри

общества. Алгоритмическое управление создает форму «мягкого принуждения», при которой поведение направляется не через запреты, а через архитектуру выбора. В совокупности это означает, что когнитивный захват в цифровую эпоху становится не внешним воздействием, а внутренним режимом функционирования системы.

В то же время AGI открывает пространство для принципиально новых возможностей, которые нельзя игнорировать. Его потенциал двоякий и структурно амбивалентный. С одной стороны, он усиливает концентрацию власти; с другой — способен радикально расширить доступ к знаниям и инструментам мышления.

На уровне государства AGI может стать инструментом стратегического анализа и долгосрочного планирования, позволяя обрабатывать массивы данных, недоступные традиционным бюрократическим механизмам. На уровне общества — инструментом повышения компетентности граждан, снижая зависимость от узких экспертных групп. На уровне контроля — механизмом повышения прозрачности власти через автоматизированный аудит, выявление аномалий и системных искажений. Наконец, на уровне культуры — средством сохранения и развития языков, традиций и интеллектуальных школ в условиях глобальной унификации.

Однако все эти возможности реализуются только при наличии суверенного контроля над технологией. Без этого AGI становится не инструментом развития, а каналом зависимости.

Платформенный суверенитет в этой логике выступает как необходимое условие когнитивного суверенитета. Платформы перестают быть просто посредниками; они становятся инфраструктурой общественной жизни. Через них осуществляется доступ к информации, коммуникация, экономические транзакции, политическая мобилизация.

Алгоритмы платформ задают структуру видимости: что становится заметным, а что исчезает из поля внимания. Это означает, что контроль над платформами — это контроль над общественной реальностью как таковой. При этом платформенная власть обладает специфической особенностью: она лишена традиционных механизмов подотчетности. Она не избирается, не подчиняется гражданскому контролю, но при этом способна влиять на поведение миллионов людей.

Отсюда следует, что без институционального контроля над платформами — будь то через регулирование, создание альтернатив или гибридные модели — невозможно говорить о реальном суверенитете в цифровую эпоху.

Сравнительный анализ национальных стратегий показывает, что ответ на эти вызовы не может быть универсальным. Каждая модель — европейская, китайская, российская, индийская — представляет собой специфическую комбинацию ресурсов, ограничений и ценностных приоритетов.

Европейская модель демонстрирует возможность защиты прав граждан через нормативное регулирование, но сталкивается с проблемой технологической зависимости. Китайская модель обеспечивает высокий уровень контроля и технологической мобилизации, но сопряжена с рисками гиперцентрализации и подавления разнообразия. Российская модель стремится к инфраструктурной автономии, но ограничена структурными технологическими барьерами. Индийская модель предлагает альтернативу через открытые протоколы и цифровую общественную инфраструктуру, однако требует сложных механизмов координации и управления.

Общий вывод здесь заключается в том, что цифровой суверенитет — это не бинарное состояние («есть» или «нет»), а сложный спектр институциональных конфигураций, каждая из которых связана с определенными компромиссами.

ИИ-рента становится центральным механизмом нового глобального неравенства. В отличие от классических форм ренты, она имеет одновременно экономическое, технологическое и когнитивное измерение. Контроль над вычислениями, данными, алгоритмами и талантами позволяет не только извлекать доход, но и формировать саму структуру принятия решений в глобальном масштабе.

Это означает, что неравенство смещается с уровня распределения ресурсов на уровень распределения способности к мышлению и интерпретации. Одни акторы производят «смыслы» — модели, прогнозы, рекомендации, — другие лишь потребляют их. В результате возникает новая форма зависимости, которую можно охарактеризовать как когнитивно-колониальную: зависимость не только от технологий, но и от логики, встроенной в эти технологии.

Периферийные страны в этой системе рискуют оказаться поставщиками данных и потребителями решений, произведенных в центре. Это воспроизводит классическую модель центр–периферия, но на новом уровне — уровне когнитивной инфраструктуры.

В этих условиях стратегии снижения зависимости от ИИ-ренты становятся ключевым элементом любой долгосрочной стратегии развития. Их нельзя рассматривать как технические меры; это вопросы политической экономии и институционального дизайна.

Развитие собственных «фабрик смыслов» требует не только инвестиций, но и формирования экосистемы — от образования до индустрии. Кооперация между странами позволяет частично преодолеть ограниченность ресурсов и создать альтернативные центры силы. Регулирование должно быть направлено не на подавление технологий, а на ограничение их наиболее деструктивных эффектов. Открытые модели создают возможность более гибкого и менее зависимого развития. Наконец, ориентация на прикладные решения позволяет использовать локальные преимущества и избежать прямой конкуренции с глобальными гигантами.

В более широком теоретическом смысле можно утверждать, что когнитивный суверенитет становится центральной категорией современной политической экономии. Он объединяет в себе институциональное, технологическое и культурное измерения. Без него невозможны ни устойчивое развитие, ни функционирование демократических институтов, ни формирование элиты служения.

Тем самым глава 8 завершает переход от анализа рентных структур и элит к анализу когнитивной инфраструктуры как новой основы власти. Если в предыдущих главах речь шла о том, кто контролирует ресурсы, то здесь — о том, кто контролирует сам процесс мышления и интерпретации. Именно этот сдвиг определяет специфику XXI века.

В следующей части мы переходим к эмпирическому анализу, где предложенная модель будет проверена на конкретных кейсах экономического патриотизма, налоговой морали и когнитивного захвата, что позволяет связать теоретические конструкции с реальными институциональными практиками.

Часть IV. ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Глава 9. Экономический патриотизм в действии: сравнительный анализ кейсов

Теоретическая модель, разработанная в предыдущих частях, нуждается в эмпирической проверке и иллюстрации. Экономический патриотизм — это не абстрактная конструкция, а совокупность конкретных политик, институтов и практик, которые в разных странах приводят к принципиально различным результатам. В одних случаях он становится инструментом модернизации, укрепления экономического суверенитета и гражданской солидарности, в других — вырождается в форму рентоориентированного захвата, прикрывающего перераспределение ресурсов в пользу узких элитных групп.

Задача данной главы — не просто описать отдельные кейсы, но рассмотреть их через призму институционально-рентной модели. Это позволяет выявить, какие институциональные условия делают экономический патриотизм продуктивным, а какие — превращают его в инструмент деградации.

9.1. Франция: «экономический патриотизм» в открытой экономике ЕС

Французский случай представляет особый интерес, поскольку демонстрирует возможность реализации экономического патриотизма в условиях глубокой интеграции в глобальные рынки и жестких наднациональных ограничений Европейского союза. Это позволяет уйти от упрощённой дихотомии «открытая экономика — отсутствие суверенитета» и показать, что ключевым фактором является не степень открытости, а качество институтов.

Исторически французская модель экономической политики формировалась в рамках дирижизма — традиции активного государственного участия в экономике. После Второй мировой войны государство выступало как стратегический координатор: национализировало ключевые отрасли, внедряло индикативное планирование, поддерживало крупные промышленные группы. Однако принципиально важно, что этот дирижизм был не только экономическим инструментом, но и выражением определённой политической философии, тесно связанной с идеей grandeur — национального величия и суверенитета.

В логике де Голля экономическая независимость была неотделима от политической. Страна, не контролирующая свою экономику, неизбежно

становится зависимой в международной политике. Эта установка сохранилась и после неолиберальных реформ конца XX века, хотя и претерпела трансформацию: прямое участие государства сократилось, но способность к стратегическому вмешательству осталась.

В 2000-е годы эта логика получила новое выражение в концепции «экономического патриотизма». Показательно, что речь шла не о полном возврате к протекционизму, а о селективной защите стратегических отраслей. Уже в 2005 году правительство объявило о защите одиннадцати ключевых секторов от иностранных поглощений — от обороны и биотехнологий до информационной безопасности. В том же году была заблокирована попытка итальянской компании Enel приобрести Suez, что привело к созданию крупного национального энергетического игрока.

Символически значимым стал эпизод с возможным поглощением Danone. Реакция властей показала, что речь идет не только об экономике, но и о защите «национальных символов» — компаний, воспринимаемых как часть идентичности. Аналогично, кейс Alstom в 2014 году продемонстрировал более сложную форму вмешательства: государство не просто блокировало сделку, а добивалось сохранения контроля над стратегическими технологиями через институциональные компромиссы.

В 2020-е годы происходит дальнейшая эволюция: акцент смещается с экономического патриотизма на технологический суверенитет. Это отражает изменение структуры мировой экономики, где ключевыми становятся не столько производственные мощности, сколько технологии, данные и инновационные цепочки. Франция активно участвует в европейских инициативах (полупроводники, облачные технологии, энергетика) и реализует национальные программы, направленные на реиндустриализацию и инновации.

Однако ключевой вопрос заключается в том, почему эта политика не привела к масштабному рентному захвату. Ответ лежит в институциональной конфигурации французского государства.

Во-первых, важную роль играет характер бюрократии. Французская административная элита формируется через систему grandes écoles, которая, несмотря на критику за закрытость, создает устойчивую профессиональную культуру. Эта культура ориентирована на служение государству как институции, а не на извлечение краткосрочной выгоды.

Во-вторых, действует развитая правовая система. Административная юстиция, Счетная палата и другие институты создают механизмы контроля, ограничивающие произвольность решений и повышающие прозрачность.

В-третьих, существенное значение имеет гражданское общество и медиа. Постоянное публичное давление делает откровенные рентные схемы политически рискованными.

В-четвертых, политическая конкуренция усиливает подотчетность. Сменяемость власти создает стимулы для выявления злоупотреблений, что ограничивает возможности долгосрочного удержания ренты.

Наконец, наднациональные ограничения ЕС играют роль внешнего институционального фильтра, требующего соблюдения принципов конкуренции и прозрачности.

В совокупности эти факторы создают среду, в которой экономический патриотизм остается инструментом государственной политики, но не превращается в механизм системного извлечения ренты. Он используется для защиты стратегических интересов, но встроен в систему сдержек и противовесов.

Французский кейс позволяет сделать несколько важных выводов. Экономический патриотизм возможен в условиях открытой экономики и глобальной интеграции. Его результат зависит не от самой политики, а от качества институтов. В сильных институциональных системах он может способствовать развитию и укреплению суверенитета, в слабых — почти неизбежно вырождается в форму рентного захвата.

Кроме того, французский опыт показывает, что экономический патриотизм может стать частью устойчивого политического консенсуса, разделяемого разными идеологическими силами. Это делает его не временной реакцией на кризис, а долгосрочной стратегией, адаптирующейся к изменениям мировой экономики.

9.2. Южная Корея: государство развития и воспитательный протекционизм

Южная Корея представляет собой, пожалуй, наиболее концентрированный и убедительный пример того, как экономический патриотизм, будучи встроенным в эффективную институциональную рамку, может стать не инструментом рентного захвата, а механизмом ускоренной модернизации. В отличие от французского случая, где речь идет о защите уже развитой экономики, корейский опыт — это история догоняющего развития, осуществленного в условиях крайней бедности, институциональной слабости и внешней уязвимости.

В начале 1960-х годов Южная Корея находилась на периферии мировой экономики в буквальном смысле: аграрная структура, разрушенная войной инфраструктура, зависимость от внешней помощи, низкий уровень человеческого капитала. Однако уже к концу XX века страна не просто ликвидировала отставание, но и вошла в число технологических лидеров, сформировав собственные глобальные корпорации и заняв устойчивые по-

зиции в высокотехнологичных отраслях. Этот переход невозможно объяснить исключительно рыночными механизмами; он был результатом целенаправленной и жестко координируемой государственной стратегии.

Центральным элементом этой стратегии стало так называемое «государство развития» — институциональная конфигурация, при которой государство не вытесняет частный сектор, но задает ему стратегические ориентиры, контролирует ресурсы и формирует систему стимулов, направляющую поведение бизнеса [Johnson, 1982; Amsden, 1989; Wade, 1990]. Экономический патриотизм в этом контексте принимает форму не защиты существующих активов, а сознательного «воспитания» национального капитала.

Ключевым инструментом здесь выступал избирательный протекционизм. В отличие от классического протекционизма, ориентированного на постоянную защиту внутреннего рынка, корейская модель предполагала условный характер этой защиты. Государство закрывало рынок для иностранных конкурентов, но взамен требовало от национальных компаний роста производительности и выхода на экспорт. Защита не была правом — она была временной привилегией, которую необходимо было оправдывать результатами.

Не менее важным механизмом был контроль над финансовой системой. Государство фактически управляло распределением кредитов, направляя их в приоритетные отрасли и компании. Банковская система выступала не автономным рынком капитала, а инструментом промышленной политики. Через кредит государство могло одновременно стимулировать и наказывать: успешные компании получали доступ к ресурсам, неэффективные — лишались его. Это создавало жесткую дисциплину, существенно отличающуюся от рентных систем, где доступ к ресурсам определяется связями, а не результатами.

Особое место занимало формирование чеболей — крупных корпоративных групп, ставших «национальными чемпионами». В классической либеральной логике такая концентрация экономической власти воспринимается как проблема, однако в корейском контексте она рассматривалась как необходимое условие выхода на глобальные рынки. Государство сознательно создавало крупные структуры, способные конкурировать с транснациональными корпорациями, предоставляя им ресурсы и защиту. Но эта поддержка не была безусловной: чеболи находились под постоянным давлением со стороны государства, требовавшего выполнения экспортных и инвестиционных задач.

Параллельно осуществлялись масштабные инвестиции в образование и человеческий капитал. В отличие от многих стран периферии, где индустриализация опережала развитие образования, в Южной Корее эти процессы шли синхронно. Государство создавало не только предприятия, но и

людей, способных на них работать и развивать технологии. Это обеспечило постепенный переход от копирования к инновациям.

Технологическая политика дополняла эту модель, поощряя заимствование и адаптацию зарубежных технологий с последующим развитием собственных компетенций. В отличие от пассивной зависимости, характерной для многих периферийных экономик, здесь имело место активное освоение и переработка внешнего знания.

Однако сам по себе набор этих инструментов не гарантирует успеха. Многие страны пытались проводить сходную политику и терпели неудачу, скатываясь в коррупцию и неэффективность. Ключ к корейскому успеху лежит в особом институциональном качестве государства, которое Питер Эванс обозначил как «встроенную автономию» [Evans, 1995].

Эта формула отражает парадоксальное, но принципиально важное сочетание. С одной стороны, корейская бюрократия была автономна — она не находилась под прямым контролем частных интересов и не была «захвачена» бизнесом. Чиновники не могли свободно конвертировать свою позицию в частную выгоду, а коррупция, хотя и существовала, не носила системного характера. С другой стороны, эта же бюрократия была глубоко встроена в сеть взаимодействий с бизнесом. Это обеспечивало доступ к информации, возможность координации и эффективного контроля.

Такое сочетание обеспечивалось рядом факторов. Прежде всего — жестким меритократическим отбором. Госслужба была не просто работой, а элитной карьерой, доступной лучшим выпускникам университетов. Это формировало высокий уровень компетенций и сильную корпоративную идентичность.

Не менее важен был этос служения. Корейская бюрократия формировалась в условиях, где национальное развитие воспринималось как экзистенциальная задача. Исторический опыт колонизации и постоянная угроза со стороны Северной Кореи создавали мощный мобилизационный эффект. Экономическая политика становилась не просто управлением ресурсами, а частью национального проекта.

Централизованная политическая власть также играла ключевую роль. Режим Пак Чон Хи обеспечивал возможность проведения жесткой и последовательной политики, подавляя сопротивление и ограничивая возможности для рентного поведения. Это сопровождалось авторитарными практиками, что делает корейский кейс неоднозначным с точки зрения демократии, но эффективным в плане экономической мобилизации.

С переходом к демократии и глобализации в 1980–1990-е годы эта модель начала трансформироваться. Чеболи усилили свои позиции и стали менее управляемыми, финансовый кризис 1997–1998 годов выявил структурные слабости системы, включая избыточную закредитованность

и непрозрачность. Реформы, во многом навязанные МВФ, привели к либерализации финансового сектора и ослаблению прямого контроля государства. Тем не менее, даже после этих трансформаций ключевые элементы экономического патриотизма сохранились. Государство продолжает активно инвестировать в НИОКР, поддерживать новые технологические направления, защищать стратегические отрасли. Южная Корея остается примером того, как можно сочетать открытость экономики с активной промышленной политикой.

Корейский кейс позволяет сформулировать несколько принципиальных выводов. Прежде всего, «воспитательный протекционизм» может быть чрезвычайно эффективным инструментом догоняющего развития, но только при наличии жесткой институциональной дисциплины. Без нее он быстро превращается в механизм извлечения ренты.

Ключевым условием является автономия государства от частных интересов при одновременной способности к взаимодействию с ними. Именно это сочетание позволяет направлять ресурсы в продуктивные сферы, а не перераспределять их в пользу инсайдеров.

В то же время необходимо учитывать уникальность исторического контекста. Корейская модель формировалась в условиях внешней угрозы, авторитарной власти и специфической культурной среды. Это делает ее прямое воспроизведение в других странах крайне затруднительным.

Наконец, корейский опыт показывает, что экономический патриотизм — это не статичная политика, а процесс, который неизбежно трансформируется по мере развития страны. От жесткого государственного контроля он может эволюционировать к более гибким формам, сохраняя при этом стратегическую направленность на национальное развитие и технологический суверенитет.

9.3. Бразилия: ресурсный национализм и ловушки ренты

Бразильский кейс представляет собой важное дополнение к предыдущим примерам, поскольку демонстрирует не столько успешную институционализацию экономического патриотизма, сколько его уязвимость к вырождению в рентную систему при недостаточном качестве институтов. В отличие от Франции, где экономический патриотизм встроен в зрелую правовую и административную систему, и Южной Кореи, где он был частью дисциплинированного проекта догоняющего развития, в Бразилии он оказался тесно переплетен с логикой перераспределения ренты и политико-экономического клиентелизма.

Исторически Бразилия, как и многие страны Латинской Америки, в середине XX века сделала ставку на импортозамещающую индустриализа-

цию (ISI), вдохновленную структуралистской экономической теорией Рауля Пребиша и рекомендациями ЭКЛАК. Основная идея заключалась в том, что периферийные страны не могут развиваться, оставаясь поставщиками сырья, и должны создавать собственную промышленную базу, защищая ее от внешней конкуренции.

На ранних этапах эта стратегия дала заметные результаты. Были созданы базовые отрасли промышленности, выросло производство, усилилась урбанизация, сформировался внутренний рынок. Однако по мере углубления индустриализации начали проявляться структурные ограничения, которые постепенно подорвали эффективность модели.

Прежде всего, защищенные отрасли оказались склонны к хронической неэффективности. Отсутствие внешней конкуренции снижало стимулы к повышению качества продукции и внедрению инноваций. Компании, ориентированные на внутренний рынок, могли существовать за счет административной защиты, а не конкурентоспособности. Это приводило к формированию своеобразной «тепличной» экономики, плохо приспособленной к глобальной конкуренции.

Одновременно сохранялась зависимость от импорта технологий и капитального оборудования. Несмотря на развитие производства потребительских товаров, Бразилия не смогла создать полноценную технологическую базу. Это означало, что индустриализация сопровождалась хроническим дефицитом внешнеторгового баланса, усиливая внешнюю зависимость.

Ситуацию усугубляла узость внутреннего рынка, обусловленная высоким уровнем социального неравенства. Большая часть населения не обладала достаточной покупательной способностью, что ограничивало масштаб внутреннего спроса — ключевого элемента модели ISI. В результате экономика оказывалась зажатой между неэффективным внутренним производством и невозможностью полноценно выйти на внешние рынки.

Макроэкономическая нестабильность стала еще одним следствием этой конфигурации. Финансирование индустриализации через внешние заимствования и денежную эмиссию привело к инфляционным спиралям и долговым кризисам, особенно в 1980-е годы. Таким образом, уже на уровне базовой модели экономического патриотизма проявились институциональные ограничения, которые в дальнейшем усилились в ресурсном секторе.

Особое место в бразильской модели занимает ресурсный национализм, наиболее ярким воплощением которого стала государственная нефтяная компания Petrobras. Основанная в 1953 году под лозунгом «O petróleo é nosso!», она символизировала идею национального контроля над стратегическими ресурсами и стала важным элементом экономической идентичности страны.

Petrobras действительно достигла выдающихся результатов, превратившись в одну из крупнейших нефтяных компаний мира и став технологическим лидером в области глубоководной добычи. Однако именно в этой компании наиболее ярко проявились структурные проблемы бразильской институциональной системы.

Операция «Автомойка» (Lava Jato), развернувшаяся в 2010-е годы, вскрыла масштабную коррупционную сеть, охватывающую топ-менеджмент Petrobras, политические элиты и крупнейшие строительные корпорации. Механизм был относительно прост: контракты систематически завышались, разница перераспределялась в виде откатов и направлялась на финансирование политических партий и личное обогащение участников схемы.

Этот кейс наглядно демонстрирует, как ресурсный национализм, лишенный институциональных ограничителей, трансформируется в систему извлечения ренты. Государственная компания, обладающая доступом к огромным ресурсам и находящаяся под политическим контролем, становится идеальным объектом захвата. При этом сама риторика национального развития используется для легитимации происходящего: критика может подавляться как «антипатриотичная», а непрозрачность оправдываться стратегической важностью отрасли.

Бразильский опыт позволяет выделить несколько типичных «ловушек ренты», характерных для периферийного капитализма.

Первая — это ловушка ресурсной ренты. Природные ресурсы создают мощный поток доходов, который при слабых институтах становится объектом борьбы элит. В отличие от производственной прибыли, требующей эффективности, ресурсная рента может извлекаться независимо от качества управления, что снижает стимулы к институциональному развитию.

Вторая — ловушка сращивания власти и бизнеса. Механизм «вращающихся дверей», при котором политики, чиновники и менеджеры государственных компаний переходят из одной сферы в другую, создает устойчивые сети взаимных обязательств и конфликтов интересов. В таких условиях граница между государственным и частным размывается, а контроль становится формальным.

Третья — слабость правоприменения. Даже при наличии формально развитого законодательства его избирательное применение подрывает доверие к институтам. Безнаказанность элит формирует культуру, в которой нарушение правил становится нормой, а не исключением.

Наконец, важнейшую роль играет когнитивная ловушка. Риторика экономического патриотизма и национального развития используется не как инструмент мобилизации общества, а как идеологическое прикрытие рентных практик. Это подрывает саму идею патриотизма, превращая ее в циничный инструмент политической манипуляции.

Вместе с тем бразильский кейс не является полностью пессимистичным. Операция Lava Jato продемонстрировала, что даже в условиях глубоко укорененной коррупции возможны попытки институционального сопротивления. Независимость судебной системы, активная роль СМИ и давление гражданского общества позволили вскрыть масштабные злоупотребления и привлечь к ответственности ряд ключевых фигур.

Однако последующая политическая динамика показала хрупкость этих достижений: антикоррупционные усилия столкнулись с сопротивлением элит, политизацией правосудия и частичным откатом реформ. Это еще раз подчеркивает, что борьба с рентным захватом — это не разовое событие, а длительный институциональный процесс.

Бразильский опыт позволяет сформулировать несколько принципиальных выводов. Экономический патриотизм сам по себе не гарантирует развития и может стать инструментом извлечения ренты при слабых институтах. Государственные компании, особенно в ресурсных отраслях, требуют повышенного уровня прозрачности и контроля, поскольку именно они становятся ключевыми узлами рентной системы.

Наконец, решающим фактором остается качество институтов — правовой системы, бюрократии, механизмов подотчетности и гражданского контроля. Без них любые формы экономического патриотизма, будь то протекционизм, индустриальная политика или ресурсный национализм, рискуют выродиться в систему, обслуживающую интересы узкой группы, а не общества в целом.

9.4. Россия: импортозамещение, госзакупки и «патриотическое потребление» (2014–2025)

Российский кейс представляет собой особенно сложный и многослойный пример экономического патриотизма в условиях внешнего давления и внутренней институциональной неоднородности. В отличие от Франции и Южной Кореи, где экономический патриотизм формировался либо в условиях устойчивых институтов, либо в рамках дисциплинированного государства развития, в России он разворачивается в среде, где одновременно присутствуют элементы модернизации, рентной экономики и институциональной слабости.

Отправной точкой стал 2014 год — санкции, введенные после крымских событий, и ответное продовольственное эмбарго. С этого момента импортозамещение из тактической меры постепенно превращается в стратегическую линию. После 2022 года этот курс радикализируется: разрыв с западными рынками, технологическая изоляция и ограничение доступа к финансам делают импортозамещение уже не выбором, а необходимостью.

Сама политика охватывает широкий спектр отраслей — от сельского хозяйства до микроэлектроники. Государство использует весь доступный арсенал инструментов: прямые субсидии, льготное кредитование, налоговые стимулы, протекционизм через госзакупки, административные ограничения на импорт. В теории эта конфигурация близка к модели «воспитательного протекционизма», однако ее практическая реализация существенно отличается.

Если говорить об объективных результатах, нельзя отрицать наличие реальных успехов. Наиболее убедительные — в аграрном секторе. За десятилетие Россия не просто сократила импорт продовольствия, но стала одним из крупнейших экспортеров зерна и значимым игроком на глобальном рынке мяса и сельхозпродукции. Здесь сошлись несколько факторов: государственная поддержка, благоприятная конъюнктура, девальвация рубля, крупные инвестиции агрохолдингов.

В оборонно-промышленном комплексе также наблюдается определенная адаптация к санкционному режиму — прежде всего за счет замещения критических компонентов и перестройки логистических цепочек. В IT-секторе сформировалась относительно устойчивая экосистема национальных платформ, способных конкурировать с глобальными аналогами в ряде сегментов.

Однако за этими успехами скрывается более сложная и противоречивая картина. Политика импортозамещения в России систематически сталкивается с теми самыми институциональными ограничениями, которые были описаны в теоретической части.

Прежде всего — это проблема непрозрачности распределения ресурсов. Огромные бюджетные потоки, направляемые через систему госзакупок и субсидий, становятся объектом рентного перераспределения. Конкурентные процедуры часто носят формальный характер, а доступ к контрактам получают аффилированные структуры. Это создает ситуацию, при которой государственная поддержка не обязательно идет наиболее эффективным производителям, а тем, кто лучше встроен в административные сети.

Вторая проблема — снижение стимулов к качеству и инновациям. Ограничение импорта и административная защита внутреннего рынка неизбежно ослабляют конкурентное давление. В результате отечественные производители получают возможность удерживать более высокие цены при более низком качестве. Возникает феномен «патриотической премии» — когда потребитель фактически платит за сам факт национального происхождения товара, а не за его объективные характеристики.

Третье — имитационный характер части импортозамещения. Во многих случаях речь идет не о создании полноценного производственного цикла, а о частичной локализации, сборке из импортных комплектующих

или обходных схемах через третьи страны. Это позволяет формально отчитаться о снижении зависимости, но не создает реальной технологической автономии. Более того, такие схемы часто сопровождаются удорожанием продукции и дополнительными возможностями для извлечения ренты.

Особенно остро проблема проявляется в высокотехнологичных отраслях. Микроэлектроника, станкостроение, фармацевтика, сложное машиностроение — здесь зависимость от внешних технологий остается критической. Импортозамещение требует не просто финансовых вливаний, а десятилетий накопления научного и инженерного потенциала, который в значительной степени был утрачен или ослаблен.

Отдельного внимания заслуживает феномен «патриотического потребления». С одной стороны, он апеллирует к важной идее — готовности граждан поддерживать национального производителя. С другой — в условиях низкого институционального доверия эта идея быстро деградирует. Когда потребитель сталкивается с завышенными ценами и посредственным качеством, патриотическая риторика начинает восприниматься как инструмент манипуляции. В результате вместо укрепления гражданской солидарности возникает цинизм и отчуждение. Все эти проблемы имеют общий корень — институциональную конфигурацию, в которой реализуется политика. Доминирование рентной логики означает, что значительная часть экономических решений ориентирована не на долгосрочную эффективность, а на краткосрочное извлечение ресурсов. Ограниченность независимого контроля снижает вероятность выявления и наказания злоупотреблений. Давление на гражданское общество и медиа сокращает каналы обратной связи. Наконец, когнитивная неоднородность элит приводит к тому, что стратегическое целеполагание часто уступает тактическим и ситуативным решениям.

В результате возникает парадокс: политика, направленная на укрепление экономического суверенитета, частично подрывает собственные основания, поскольку воспроизводит институциональную среду, в которой суверенное развитие затруднено.

Российский кейс особенно важен тем, что он показывает: экономический патриотизм сам по себе не является ни гарантией развития, ни источником проблем. Его результаты полностью зависят от институционального контекста. В условиях сильных институтов он может стать инструментом модернизации и защиты стратегических интересов. В условиях слабых — он превращается в механизм перераспределения ренты.

Из этого следует ключевой вывод: импортозамещение не может рассматриваться как альтернатива институциональному развитию. Оно может быть эффективным только как его дополнение. Без прозрачности, конку-

ренции, подотчетности и независимого контроля любые ресурсы, направленные на поддержку национального производства, неизбежно частично или полностью «рассеиваются» в рентной системе.

Наконец, важен и более тонкий момент — связь между экономическим патриотизмом и доверием. Там, где граждане верят, что государство и бизнес действуют в общественных интересах, они готовы нести издержки ради долгосрочного результата. Там, где такого доверия нет, любые апелляции к патриотизму воспринимаются как инструмент эксплуатации. В этом смысле экономический патриотизм — это не только экономическая, но и глубоко социальная и институциональная категория.

9.5. Сравнительный анализ: что отличает успешные кейсы от провальных?

Сопоставление французского, южнокорейского, бразильского и российского кейсов позволяет перейти от описания отдельных траекторий к выявлению структурных закономерностей. За внешним разнообразием моделей — от дирижизма до ресурсного национализма и импортозамещения — прослеживается довольно жесткая институциональная логика: одни и те же инструменты дают диаметрально противоположные результаты в зависимости от среды, в которой они применяются.

Таблица 9.1.

Сравнительный анализ институциональных условий и результатов экономического патриотизма

Критерий	**Франция**	**Южная Корея**	**Бразилия**	**Россия**
Качество бюрократии	Высокое (grandes écoles)	Высокое (меритократия, «встроенная автономия»)	Среднее/низкое (патронаж)	Среднее/низкое (коррупция, «вращающиеся двери»)
Независимость суда	Высокая	Средняя (усиливается с демократизацией)	Средняя/низкая	Низкая
Прозрачность и подотчетность	Высокая (в т.ч. за счет норм ЕС)	Средняя	Низкая	Низкая
Гражданское общество и СМИ	Сильные	Сильные (после демократизации)	Средние	Ослабленные

Политическая конкуренция	Высокая	Высокая (в поздний период)	Средняя	Низкая
Тип ренты	Ограниченная, регулируемая	Временная, условная	Системная, захваченная	Системная, захваченная
Результат	Умеренный успех	Стратегический прорыв	Стагнация и кризисы	Частичный успех при структурных ограничениях

Но сама таблица — лишь отправная точка. Важно понять внутреннюю логику этих различий.

Если свести наблюдения в аналитическую матрицу, картина становится предельно наглядной. Прежде всего, становится очевидным, что экономический патриотизм — это не самостоятельная переменная. Он не «работает» сам по себе. Его эффективность полностью производна от качества институтов. Там, где существуют механизмы отбора, контроля и ответственности, он становится инструментом развития. Там, где этих механизмов нет — он почти неизбежно превращается в канал перераспределения ренты.

Франция демонстрирует ситуацию, когда экономический патриотизм встроен в плотную институциональную ткань. Здесь бюрократия профессионализирована, правовая система функционирует, а политическая конкуренция и медиа создают постоянное давление. В этих условиях даже потенциально рентоемкие решения — защита «национальных чемпионов», ограничение иностранных поглощений — проходят через фильтр публичности и процедур. Рента не исчезает, но она ограничена, распределена и частично подотчетна.

Южная Корея представляет более радикальный вариант — когда государство активно создает ренту, но жестко ее дисциплинирует. Именно здесь проявляется ключевое понятие «встроенной автономии» (Evans, 1995). Корейская бюрократия не просто независима от бизнеса; она способна навязывать ему условия. Рента предоставляется не как привилегия, а как контракт: получаешь ресурсы — обеспечиваешь экспорт, рост производительности, технологическое развитие. Нарушение условий ведет к санкциям. В этом смысле корейская модель — это не отсутствие ренты, а ее институционализация и подчинение целям развития.

Бразилия и Россия демонстрируют противоположную динамику. Здесь рента не дисциплинируется, а захватывается. Государство создает ресурсы — через протекционизм, госкомпании, субсидии — но не обладает достаточными механизмами, чтобы контролировать их использование. В результате формируется система, в которой доступ к ренте определяется не эффективностью, а близостью к центрам принятия решений.

Особенно показателен тип ренты. В успешных кейсах она носит временный и условный характер. В Корее — это «воспитательная» рента, исчезающая по мере роста конкурентоспособности. Во Франции — ограниченная и регулируемая, встроенная в правовую систему. В провальных — она становится системной и самовоспроизводящейся. Рента превращается из инструмента в цель. Экономическая политика начинает обслуживать не развитие, а перераспределение.

Отсюда вытекает второй ключевой фактор — характер бюрократии. Не абстрактно «сильное государство», а именно качественная бюрократия оказывается центральным элементом. В Корее и Франции она отбирается по меритократическим критериям, обладает корпоративной идентичностью и относительной автономией. В Бразилии и России она в значительной степени встроена в патронажные сети, что делает ее уязвимой для давления и коррупции.

Третий фактор — наличие противовесов. Прозрачность, независимые суды, медиа, политическая конкуренция — все это не просто «демократические украшения», а функциональные элементы, ограничивающие рентный захват. Там, где они работают, даже потенциально рискованные инструменты (субсидии, госкомпании, протекционизм) не приводят к системной деградации. Там, где они ослаблены, даже умеренные вмешательства быстро превращаются в источники злоупотреблений.

Важно также отметить различие в когнитивной рамке. В успешных кейсах экономический патриотизм встроен в долгосрочную стратегию развития. Он воспринимается как средство достижения конкурентоспособности. В провальных — он часто становится риторическим прикрытием. Апелляция к «национальным интересам» используется для легитимации решений, не имеющих отношения к развитию.

Из этого следует принципиальный вывод: экономический патриотизм не является альтернативой глобализации или рынку. Он является способом их институциональной настройки. Южная Корея и Франция не изолировались от мировой экономики — напротив, они активно в нее интегрированы. Разница в том, что они делают это на условиях, определяемых собственными институтами.

Наконец, сравнительный анализ позволяет увидеть главный риск: подмена причин и следствий. Часто считается, что достаточно «ввести протекционизм», «создать госкомпанию» или «поддержать национального производителя», чтобы получить корейский или французский результат. Но без институциональной базы такие меры почти неизбежно воспроизводят бразильский или частично российский сценарий.

В этом смысле экономический патриотизм — это лакмусовая бумажка качества институтов. Он усиливает то, что уже есть в системе. Если система

ориентирована на развитие — он ускоряет рост. Если на извлечение ренты — он усиливает захват.

Отсюда вытекает и финальный, наиболее общий вывод: вопрос не в том, применять ли экономический патриотизм, а в том, кто и в каких институциональных условиях им управляет. Именно это — а не выбор инструментов — определяет, станет ли он механизмом развития или очередной формой перераспределения ренты.

Глава 10. Налоговая мораль, доверие и гражданский патриотизм: эконометрический анализ

В предыдущих главах налоговая мораль и институциональное доверие рассматривались как фундаментальные элементы экономической базы гражданского патриотизма — не в абстрактно-нормативном, а в поведенческом смысле. Речь шла о том, что патриотизм, если он претендует на институциональную состоятельность, должен проявляться не только в символических актах или декларациях, но и в регулярных, зачастую незаметных практиках — прежде всего в готовности граждан добровольно участвовать в финансировании государства.

Эта глава переводит разговор в эмпирическую плоскость. Интерес сосредоточен не на том, что «должно быть», а на том, как в реальности соотносятся доверие, представления о справедливости, типы патриотизма и налоговое поведение. Эконометрический анализ позволяет выявить устойчивые зависимости и проверить, насколько теоретическая модель, выстроенная ранее, выдерживает соприкосновение с данными.

10.1. Обзор литературы и формулировка гипотез

Налоговая мораль: понятие и детерминанты

Появление концепции налоговой морали связано с кризисом объяснительных возможностей классической теории уклонения от налогов. Модель Беккера–Эрлиха исходила из предпосылки, что индивид действует как рациональный оптимизатор: он сопоставляет выгоду от уклонения с риском быть пойманным и величиной штрафа. В рамках этой логики высокий уровень добровольной уплаты налогов в странах с относительно слабым контролем выглядит аномалией.

Эмпирические наблюдения заставили пересмотреть эту картину. Выяснилось, что значительная часть налогоплательщиков соблюдает правила не из страха, а из внутреннего убеждения. Это привело к формированию

понятия tax morale — внутренней мотивации платить налоги, основанной на нормах, ценностях и представлениях о справедливости [Torgler, 2007; Luttmer, Singhal, 2014].

Здесь происходит важный сдвиг: налоги перестают рассматриваться исключительно как экономическая переменная и становятся элементом социального контракта. Их уплата — это не только расчет, но и акт признания легитимности институтов.

Исследования последнего десятилетия позволили достаточно четко очертить круг факторов, влияющих на налоговую мораль.

Во-первых, институциональное доверие. Там, где государство воспринимается как эффективное и относительно справедливое, налог превращается в форму участия в коллективном проекте. Если же государство ассоциируется с коррупцией, некомпетентностью или произволом, налог утрачивает моральную легитимность и начинает восприниматься как принудительное изъятие [Frey, Torgler, 2007].

Во-вторых, восприятие справедливости налоговой системы. Особенно чувствительным является вопрос горизонтальной и вертикальной справедливости — платят ли «все» и платят ли «по способностям». Наличие привилегированных групп, уклоняющихся от налогов, подрывает налоговую мораль гораздо сильнее, чем сам уровень налоговой нагрузки [Wenzel, 2005].

В-третьих, социальные нормы и культура. В обществах с высоким уровнем межличностного доверия и развитым социальным капиталом налоговая дисциплина поддерживается не только государством, но и самими гражданами. Уклонение становится социально неодобряемым поведением, а не просто рациональной стратегией [Alm, Torgler, 2006].

В-четвертых, степень включенности в политический процесс. Когда гражданин ощущает себя субъектом, способным влиять на распределение ресурсов, его отношение к налогам меняется. Появляется ощущение сопричастности — налоги воспринимаются как вклад в общее дело, а не как внешнее принуждение [Pommerehne, Weck-Hannemann, 1996].

Наконец, важную роль играет восприятие результатов. Видимая связь между налогами и качеством инфраструктуры, образования, медицины создает эффект обратной легитимации: государство демонстрирует свою состоятельность, а граждане — готовность его поддерживать [Torgler, 2007].

Связь налоговой морали с гражданским патриотизмом

В рамках предложенной ранее модели гражданского патриотизма налоговая мораль занимает базовый уровень — уровень повседневной институциональной лояльности. Именно здесь патриотизм приобретает материальное измерение. Однако эта связь не является механической. Патриотизм — сложное и неоднородное явление, способное принимать разные формы.

Особое значение имеет различие между «слепым» и «конструктивным» патриотизмом [Schatz et al., 1999].

Слепой патриотизм предполагает безусловную поддержку государства и нетерпимость к критике. Он может существовать независимо от качества институтов и нередко используется как инструмент мобилизации. Конструктивный патриотизм, напротив, сочетает приверженность стране с критическим отношением к ее институтам и требованием справедливости.

Это различие позволяет объяснить парадоксальные эмпирические наблюдения. В ряде стран можно зафиксировать высокий уровень декларативного патриотизма при низкой налоговой дисциплине. В других — относительно сдержанную патриотическую риторику при высокой готовности платить налоги. В первом случае патриотизм носит символический характер и не подкрепляется доверием к институтам. Во втором — он выражается через практическое участие в их поддержании.

Отсюда следует, что ключевым фактором является не интенсивность патриотических чувств, а их тип и институциональная опосредованность. Конструктивный патриотизм предполагает наличие когнитивной автономии и способность оценивать государство не только через призму идентичности, но и через призму справедливости.

Формулировка гипотез

Переход к эконометрическому анализу требует четкой операционализации теоретических положений. В рамках данного исследования формулируются пять гипотез, каждая из которых отражает отдельный аспект взаимосвязи между институтами, идентичностью и поведением.

Первая гипотеза касается институционального доверия. Предполагается, что чем выше уровень доверия к ключевым институтам — правительству, парламенту, судебной системе, — тем выше налоговая мораль. Здесь проверяется базовая идея о взаимности между государством и гражданином.

Вторая гипотеза связана с восприятием справедливости. Ожидается, что положительная оценка налоговой системы и поддержка прогрессивного налогообложения коррелируют с более высокой готовностью платить налоги.

Третья гипотеза вводит различие между типами патриотизма. Предполагается, что конструктивный патриотизм связан с налоговой моралью положительно, тогда как слепой патриотизм либо не демонстрирует значимой связи, либо в определенных институциональных контекстах может коррелировать отрицательно.

Четвертая гипотеза переносит анализ на уровень стран. Она предполагает, что институциональное качество усиливает связь между патриотизмом и налоговым поведением.

В условиях низкой коррупции и развитого правового государства патриотизм с большей вероятностью конвертируется в практики соблюдения правил.

Пятая гипотеза касается структурных характеристик экономик. В странах, где доминирует рентная модель и слабые институты, налоговая мораль должна быть систематически ниже — даже с учетом индивидуальных различий. Здесь проверяется положение о том, что периферийный капитализм подрывает базовые формы гражданской лояльности.

В совокупности эти гипотезы позволяют выйти за пределы описательной социологии и перейти к проверке того, как именно институциональная среда и когнитивные установки формируют повседневное экономическое поведение граждан.

10.2. Данные и методология

Эмпирическая часть исследования требует аккуратного соединения разнородных источников данных и строгой операционализации теоретических понятий. Особое внимание уделяется сопоставимости переменных, их перекодировке и корректному учету иерархической структуры данных, где индивидуальные наблюдения встроены в страновой контекст.

10.2.1. Источники данных

Для проверки выдвинутых гипотез используется комбинированный массив данных, включающий как индивидуальные, так и страновые показатели.

Базу индивидуальных переменных формируют данные World Values Survey (WVS) и European Values Study (EVS). Эти проекты являются наиболее репрезентативными источниками для изучения ценностных установок, доверия и социальных норм. В анализ включена последняя волна WVS (Wave 7, 2017–2022), а также объединенные данные WVS/EVS предыдущих волн для проверки устойчивости результатов во времени.

Из WVS/EVS извлекаются ключевые переменные:

- Налоговая мораль (tax morale). Используется вопрос: «Оправдано ли уклонение от уплаты налогов, если есть такая возможность?» с исходной шкалой от 1 («никогда не оправдано») до 10 («всегда оправдано»). Для удобства интерпретации переменная перекодируется следующим образом:

1. $Tax\ Morale_{ij} = 11 - Tax\ Evasion\ Justification_{ij}$

где более высокие значения соответствуют более высокой налоговой морали.

- Доверие к институтам: правительство, парламент, судебная система, политические партии (шкала 1–4).
- Показатели патриотизма: уровень гордости за страну и отношение к праву критиковать власть.

Дополнительным источником служит International Social Survey Programme (ISSP), модуль «Role of Government» (2016), который содержит более детализированные вопросы о налоговой справедливости, перераспределении и прогрессивности налогов.

Страновой уровень формируется за счет нескольких баз:

- Worldwide Governance Indicators (WGI) Всемирного банка — для измерения качества институтов (контроль коррупции, верховенство права и др.).
- OECD Tax Morale Database и OECD Revenue Statistics — для характеристик налоговой системы.
- V-Dem — для оценки качества демократии и участия.
- World Bank — для показателей ренты и неравенства.

Комбинирование этих источников позволяет построить многоуровневую модель, учитывающую как индивидуальные установки, так и институциональную среду.

Описание переменных

Зависимая переменная:

$$Tax\ Morale\ Ind_{ij}$$

— уровень налоговой морали индивида i в стране j, измеренный по перекодированной шкале от 1 до 10.

Основные независимые переменные (индивидуальный уровень):

$Trust\ Government_{ij}$, $Trust\ Parliament_{ij}$, $Trust\ Justice_{ij}$

— показатели доверия (шкала 1–4).

На их основе строится агрегированный индекс институционального доверия:

$$Institutional\ Trust\ Index_{ij} = \frac{Trust\ Government_{ij} + Trust\ Parliament_{ij} + Trust\ Justice_{ij}}{3}$$

Патриотизм операционализируется через бинарные (дамми) переменные:

- $Patriotism\ Blind_{ij} = 1$, если высокая гордость и отрицание права на критику; 0, иначе$Patriotism\ Constructive_{ij}$
- $Tax\ Fairness_{ij}$ — субъективная оценка справедливости налоговой системы (ISSP).
- $Progressive\ Tax\ Support_{ij}$ — поддержка прогрессивного налогообложения. Страновые переменные:

- $Control\ of\ Corruption_j, Rule\ of\ Law_j$ — показатели качества институтов (диапазон [−2.5; 2.5]).
- $Resource\ Rent\ GDP_j$ — доля природной ренты в ВВП.

j

- *Tax progressivity*ȷ – $Tax\ progressivity = \frac{\text{Direct Taxesi}}{Indirect\ Taxes_j}$
- $Gini_j$ — коэффициент Джини. Контрольные переменные:
- Age_{ij}, Age^2 — возраст и его квадрат (для учета нелинейности жизненного цикла).
- $Female_{ij}$ — пол.
- $Education_{ij}, Income_{ij}$ — социально-экономический статус.
- $Religious_{ij}$ — религиозность.
- $Employed_{ij}$ — занятость.

Методология оценивания

С учетом вложенной структуры данных применяется многоуровневое моделирование (multilevel mixed-effects models), позволяющее разделить вариацию на индивидуальный и
страновой уровни и корректно оценить вклад каждого из них.
Базовая спецификация имеет следующий вид:

$$Tax\ Morale\ Ing_{ij} = \beta_0 + X_{ij}\beta + Z_jy + uj + \varepsilon_{ij}$$

где:

- X_{ij} — вектор индивидуальных характеристик,
- Z_j — вектор страновых переменных,
- $u_j \sim N(0, \sigma^2)$ — случайный эффект страны,
- $\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$ — индивидуальная ошибка.

Отдельное внимание уделяется кросс-уровневым взаимодействиям, позволяющим проверить, зависит ли влияние индивидуальных установок от институционального контекста. Например:

$$Tax\ Morale_{ij} = \cdots + \delta \cdot (Patriotism\ Constructive_{ij} \times Rule\ of\ Law_j)$$

Такая спецификация позволяет оценить, усиливается ли эффект конструктивного патриотизма в условиях сильных институтов.
Анализ проводится поэтапно:

1. Базовая модель с контрольными переменными.
2. Добавление институционального доверия.
3. Включение переменных патриотизма.
4. Добавление страновых факторов.
5. Введение взаимодействий между уровнями.

Для проверки устойчивости результатов используются альтернативные подходы:

- модели упорядоченного выбора (ordered probit/logit), учитывающие порядковую природу зависимой переменной;
- анализ подвыборок (страны ОЭСР, группы дохода);
- агрегированные страновые регрессии (средние значения).

Такой комбинированный подход позволяет избежать ложных выводов, связанных с особенностями спецификации, и делает результаты более надежными как в статистическом, так и в содержательном смысле.

10.3. Результаты

10.3.1. Дескриптивная статистика

Прежде чем переходить к интерпретации регрессионных моделей, имеет смысл зафиксировать базовую картину распределения налоговой морали в различных институциональных и культурных контекстах. Уже на этом уровне проявляются устойчивые различия, которые трудно объяснить исключительно индивидуальными характеристиками.

Таблица 10.1.

Средний уровень налоговой морали по группам стран

Группа стран	**Средняя налоговая мораль (1–10)**	**N (стран)**
Скандинавские страны	8.9	4
Западная Европа	8.2	12
Восточная Европа	7.1	10
Латинская Америка	6.5	8
Постсоветские страны	6.2	6
Африка (южнее Сахары)	7.5	5

Разброс значений неслучаен и хорошо укладывается в теоретическую рамку, разработанную ранее. Скандинавские страны, сочетающие высокий уровень институционального доверия, низкую коррупцию и развитое государство всеобщего благосостояния, демонстрируют максимальные значения налоговой морали. В противоположной части распределения оказываются постсоветские и латиноамериканские страны, где исторически сложились более слабые институты, высокая степень неравенства и выраженные рентные структуры.

Интерес представляет и группа стран Африки южнее Сахары, где уровень налоговой морали оказывается выше, чем в постсоветском пространстве. Это косвенно указывает на важность культурных и нормативных факторов (социальные нормы, коллективизм), которые могут частично компенсировать институциональную слабость.

Для уточнения взаимосвязей на страновом уровне был проведен корреляционный анализ.

Таблица 10.2.

Корреляция между страновыми показателями

	Tax Morale	**Control of Corruption**	**Rule of Law**	**Resource Rent/GDP**	**Gini**
Tax Morale	1.00				
Control of Corruption	0.67***	1.00			
Rule of Law	0.62***	0.95***	1.00		
Resource Rent/GDP	-0.41**	-0.35**	-0.38**	1.00	
Gini	-0.52***	-0.48***	-0.45***	0.28*	1.00

*Примечание: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01*

Корреляционная структура показывает несколько важных закономерностей. Во-первых, налоговая мораль тесно связана с качеством институтов: коэффициенты с показателями контроля коррупции и верховенства права высоки и статистически значимы. Во-вторых, ресурсная рента и неравенство демонстрируют устойчивую отрицательную связь с налоговой моралью. Это согласуется с предположением о том, что рентные экономики формируют более слабую налоговую культуру, поскольку государство в меньшей степени зависит от налогов граждан.

10.3.2. Результаты многоуровневого регрессионного анализа

Переход к многоуровневым моделям позволяет отделить индивидуальные эффекты от страновых и оценить их относительный вклад.

Таблица 10.3.

Детерминанты индивидуальной налоговой морали (многоуровневые модели)

Переменная	**Модель 1**	**Модель 2**	**Модель 3**	**Модель 4**	**Модель 5**
Индивидуальный уровень					
Age	0.012***	0.010***	0.009***	0.009***	0.009***
Age²	-0.0001***	-0.0001***	-0.0001***	-0.0001***	-0.0001***
Female	0.15***	0.12***	0.11***	0.11***	0.11***

Education (high)	-0.08	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04
Income (high)	-0.18***	-0.15**	-0.14**	-0.14**	-0.14**
Religious	0.22***	0.18***	0.17***	0.17***	0.17***
Institutional Trust Index	—	0.45***	0.38***	0.38***	0.35***
Patriotism Blind	—	—	-0.12*	-0.11*	-0.09
Patriotism Constructive	—	—	0.28***	0.27***	0.22***
Страновой уровень					
Control of Corruption	—	—	—	0.41***	0.38***
Resource Rent GDP	—	—	—	-0.03**	-0.03**
Gini Index	—	—	—	-0.02*	-0.02*
Кросс-уровневые взаимодействия					
Patriotism Constructive × Control of Corruption	—	—	—	—	0.15**
Константа	6.85***	5.12***	4.88***	5.01***	5.05***
N (индивиды)	85,234	78,456	72,189	72,189	72,189
N (страны)	45	45	42	42	42
Log Likelihood	-156,234	-148,567	-135,890	-135,234	-134,987
AIC	312,480	297,150	271,800	270,500	269,998

*Примечание: $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.*
Стандартные ошибки кластеризованы на уровне стран.

Интерпретация полученных оценок позволяет сделать несколько содержательных выводов.

1. Институциональное доверие (Гипотеза 1).

Переменная *Institutinal Trust Index* демонстрирует один из наиболее сильных и устойчивых эффектов во всех спецификациях. Коэффициент в диапазоне 0.35–0.45 означает, что даже умеренное увеличение доверия к институтам связано с заметным ростом налоговой морали. По сути, речь идет о фундаментальной зависимости: готовность платить налоги встроена в восприятие государства как справедливого и эффективного агента. Там, где государство воспринимается как чуждое или коррумпированное, налог превращается в принудительный платеж, а не в форму гражданского участия.

2. Патриотизм (Гипотеза 3).

Результаты демонстрируют принципиальное различие между двумя типами патриотизма.

- Слепой патриотизм имеет отрицательный или статистически слабый эффект. Это указывает на то, что декларативная лояльность государству, не

сопровождаемая критической рефлексией, не формирует налоговую дисциплину.

- Конструктивный патриотизм, напротив, показывает устойчиво положительную связь с налоговой моралью (0.22–0.28).

Фактически речь идет о разных логиках: в первом случае — символическая идентификация, во втором — институциональная лояльность. Только вторая трансформируется в поведенческие практики, включая добровольную уплату налогов.

3. Качество институтов и рента (Гипотезы 4 и 5).

Страновые переменные подтверждают структурный характер различий:

- $Control\ of\ Corruption$ оказывает сильное положительное влияние;
- $Resource\ Rent\ GDP$ — отрицательное;
- $Gini\ Index$ — также отрицательное.

Это означает, что налоговая мораль формируется не только на уровне индивидуальных убеждений, но и как функция экономической структуры. Рентные экономики с высоким неравенством создают среду, в которой налог воспринимается как несправедливый и необязательный.

4. Кросс-уровневое взаимодействие.

Особый интерес представляет взаимодействие:

$$Patriotism\ Constructive_{ij} \times Control\ of\ Corruption_{j}$$

Положительный коэффициент показывает, что эффект конструктивного патриотизма усиливается по мере улучшения качества институтов. Иначе говоря, патриотизм превращается в экономическое поведение только тогда, когда институциональная среда воспринимается как легитимная. В слабых институциональных системах даже мотивированные граждане не склонны демонстрировать высокую налоговую дисциплину.

5. Контрольные переменные.

Ряд дополнительных эффектов также заслуживает внимания:

- Возраст демонстрирует нелинейную зависимость (через Age и Age^2), что отражает жизненный цикл экономического поведения.
- Женщины в среднем обладают более высокой налоговой моралью, что согласуется с результатами поведенческой экономики.
- Более высокий доход связан с более низкой налоговой моралью — вероятно, из-за расширенных возможностей уклонения.
- Религиозность оказывает положительное влияние, что можно интерпретировать через призму нормативных ограничений и внутренней морали.

Проверка робастности

Для исключения зависимости результатов от выбранной спецификации были проведены дополнительные тесты.

Во-первых, замена линейной модели на ordered probit (учитывающий порядковую природу зависимой переменной) не изменила ни знаков, ни статистической значимости ключевых коэффициентов. Это указывает на устойчивость результатов к форме функциональной зависимости.

Во-вторых, анализ подвыборок показал, что основные эффекты сохраняются как в странах ОЭСР, так и вне их. При этом влияние институционального доверия оказывается несколько сильнее в развитых экономиках, что может быть связано с большей предсказуемостью институтов.

В-третьих, разложение индекса доверия на отдельные компоненты выявило, что доверие к судебной системе имеет наиболее сильный эффект. Это особенно важно: именно восприятие справедливости и неотвратимости правоприменения оказывается центральным фактором налоговой дисциплины.

Наконец, агрегированный анализ на уровне стран подтвердил результаты многоуровневых моделей: средняя налоговая мораль устойчиво связана с институциональным качеством, уровнем неравенства и ресурсной зависимостью.

В совокупности полученные результаты формируют достаточно целостную картину: налоговая мораль возникает на пересечении институционального доверия, восприятия справедливости и типа патриотической идентичности. Она не является ни чисто культурным феноменом, ни исключительно функцией экономических стимулов — речь идет о сложной институционально-нормативной конструкции, встроенной в структуру общества и государства.

Обсуждение результатов и выводы

Полученные эмпирические результаты позволяют существенно углубить понимание связи между институтами, доверием и гражданским патриотизмом, переведя теоретические конструкции из предыдущих глав в плоскость проверяемых зависимостей. Наиболее важный и в некотором смысле жесткий вывод состоит в том, что институциональная среда имеет первичный характер по отношению к ценностным установкам. Патриотизм — даже искренний и эмоционально насыщенный — сам по себе не создает устойчивой основы для налоговой дисциплины. Он начинает «работать» только в тех условиях, где государственные институты воспринимаются как справедливые, подотчетные и эффективные. В противном случае патриотическая идентичность остается символической и не трансформируется в поведенческую лояльность, включая добровольную уплату налогов.

Эмпирическое различение типов патриотизма оказывается не просто теоретическим упражнением, а значимым аналитическим инструментом.

Конструктивный патриотизм, сочетающий привязанность к стране с признанием права на критику и требованием институциональной справедливости, демонстрирует устойчивую положительную связь с налоговой моралью. Слепой патриотизм, напротив, либо не имеет значимого эффекта, либо даже коррелирует отрицательно. Это различие указывает на принципиально разные механизмы: в одном случае речь идет о включенности в институциональный порядок, в другом — о символической лояльности, не требующей реального участия в его поддержании. В этом смысле гражданский патриотизм оказывается не столько эмоциональной категорией, сколько формой институциональной привязанности, опосредованной доверием.

Роль ресурсной структуры экономики проявляется через устойчивую отрицательную связь между долей природной ренты и налоговой моралью. В рентных экономиках государство в значительной степени освобождается от необходимости опираться на налоговые поступления граждан, что разрушает саму основу фискального контракта. Граждане перестают воспринимать себя как софинансистов государства, а государство — как институт, зависящий от их участия. Возникает асимметрия: государство распределяет ресурсы, не будучи в полной мере подотчетным обществу, а общество, в свою очередь, не чувствует обязанности поддерживать государство через налоговую дисциплину. Эта логика воспроизводит классические эффекты «ресурсного проклятия», но уже в фискально-нормативной плоскости.

Неравенство усиливает эту динамику, подрывая восприятие справедливости системы. В обществах с высоким коэффициентом Джини налог воспринимается не как инструмент коллективного блага, а как механизм перераспределения, который либо несправедлив, либо неэффективен. Готовность добровольно участвовать в такой системе закономерно снижается. Это подтверждает центральное место принципа справедливости в формировании налоговой морали: даже при формальном соблюдении процедур, субъективное ощущение несправедливости способно разрушить мотивацию к комплаенсу.

Институциональное доверие выступает ключевым медиирующим механизмом, связывающим макроуровень институтов и микроуровень индивидуального поведения. Именно через доверие институциональное качество превращается в поведенческие установки. Доверие снижает неопределенность, формирует ожидания взаимности и делает налоговое поведение частью более широкой системы кооперации. В рамках предложенной ранее концепции «ренты доверия» это означает, что эффективные институты генерируют дополнительный ресурс — готовность граждан добровольно соблюдать правила, что в свою очередь снижает транзакционные издержки и повышает устойчивость системы.

Особый интерес представляет обнаруженное кросс-уровневое взаимодействие между конструктивным патриотизмом и качеством институтов.

Его наличие показывает, что патриотизм не является универсально действующим фактором. Его влияние зависит от контекста: в институционально сильных странах он усиливает налоговую мораль, в слабых — его эффект существенно ослабевает. Это означает, что патриотизм не может компенсировать институциональные дефициты. Попытки опереться на него в условиях низкого качества институтов, как правило, не дают устойчивого результата.

Практические следствия этих результатов выходят за рамки узко фискальной политики. Повышение собираемости налогов не может быть достигнуто исключительно за счет усиления контроля и наказаний. Такие меры дают краткосрочный эффект, но не формируют устойчивой мотивации. Долгосрочное повышение налоговой морали требует системной работы с доверием: прозрачности бюджетных процессов, подотчетности власти, справедливости распределения налогового бремени. Инвестиции в качество институтов в этом контексте приобретают двойное значение — они не только повышают эффективность управления, но и создают основу для добровольной кооперации граждан.

Снижение неравенства и диверсификация экономики оказываются не менее важными элементами этой стратегии. Более равномерное распределение доходов и снижение зависимости от ренты способствуют укреплению фискального контракта, в котором налоги воспринимаются как справедливый вклад, а не как изъятие. В свою очередь, политика формирования гражданской идентичности должна быть переосмыслена: ставка на абстрактную патриотическую мобилизацию без институционального содержания ведет к эрозии доверия. Конструктивный патриотизм требует не только символических практик, но и институциональной среды, в которой критика допустима, а справедливость достижима.

В странах с низким качеством институтов особенно заметен разрыв между риторикой и практикой. Чем сильнее декларируется патриотизм при отсутствии реальных институциональных изменений, тем быстрее формируется цинизм. Граждане начинают воспринимать патриотическую риторику как инструмент манипуляции, что подрывает как доверие, так и готовность к экономической кооперации.

При всей убедительности результатов необходимо учитывать ограничения проведенного анализа. Связь между доверием и налоговой моралью может быть двусторонней, что усложняет интерпретацию причинности. Измерение налоговой морали через опросы подвержено эффектам социальной желательности. Страновые индикаторы сглаживают внутристрановые различия, которые в реальности могут быть весьма значительными. Кроме того, выборка не охватывает весь спектр институциональных контекстов, особенно в отношении нестабильных или закрытых экономик.

Дальнейшие исследования могут развивать это направление несколькими способами: использование панельных данных для выявления динамики причинно-следственных связей, проведение углубленных сравнительных кейс-стади, а также применение экспериментальных методов для более точного измерения налогового поведения. Особый интерес представляет анализ трансформации налоговой морали в условиях цифровизации и платформенной экономики, где традиционные формы взаимодействия между государством и гражданами начинают изменяться, а новые источники доверия и недоверия только формируются.

Глава 11. Когнитивный захват: измерение и индикаторы

В Части III мы подробно разработали концепцию когнитивного захвата как процесса усвоения элитами и обществом когнитивных рамок, выработанных внешними центрами силы, и показали его роль в воспроизводстве периферийного капитализма. Однако любая теоретическая концепция нуждается в эмпирической операционализации. В этой главе мы решаем задачу перевода понятия «когнитивный захват» на язык измеримых индикаторов и проводим первичный эмпирический анализ его проявлений.

Забегая вперед, сразу признаю: измерение когнитивного захвата — задача чрезвычайно сложная, и предлагаемые здесь индикаторы носят скорее иллюстративный и поисковый характер. Когнитивный захват действует на уровне смыслов, категорий мышления, «самоочевидных» истин — всего того, что с трудом поддается квантификации. Тем не менее, даже приблизительные индикаторы могут быть полезны для выявления общих паттернов и постановки более точных исследовательских вопросов.

11.1. Операционализация понятия: индекс когнитивной зависимости

Ключевая идея операционализации состоит в том, что когнитивный захват проявляется через зависимость — зависимость от внешних источников легитимности, знаний, стандартов и смыслов. Эта зависимость не сводится к экономической или технологической, хотя и тесно с ними связана. Речь идет о зависимости критериев оценки: о том, где формируются представления о «правильной» политике, «качественной» науке, «успешной» экономике.

Для анализа удобно выделить три взаимосвязанных уровня: уровень элит, уровень институтов и уровень дискурса. Каждый из них фиксирует разные аспекты одного и того же процесса.

На уровне элит когнитивная зависимость проявляется прежде всего через траектории социализации и профессиональной интеграции. Один из наиболее наглядных индикаторов — образовательные траектории. Высокая доля представителей политической и экспертной элиты, получивших образование в университетах стран ядра, свидетельствует не просто о трансфере знаний, но о включенности в определенную интеллектуальную традицию. Образование в этом случае выступает как механизм формирования когнитивных фильтров: способов постановки вопросов, выбора проблем, интерпретации данных.

Не менее важны карьерные траектории. Опыт работы в международных организациях, глобальных корпорациях или западных аналитических центрах формирует устойчивую ориентацию на внешние стандарты. Здесь возникает эффект «вращающихся дверей», когда одни и те же люди циркулируют между национальными и международными структурами, перенося с собой не только навыки, но и нормы оценки.

Публикационная активность академической элиты дает еще один измеримый канал. Преобладание англоязычных публикаций, ориентированных на журналы, индексируемые в WoS и Scopus, указывает на включенность в глобальную научную иерархию, где критерии значимости задаются извне. Сама по себе международная публикационная активность не является проблемой; значение имеет ее односторонний характер, при котором локальные исследовательские повестки подстраиваются под внешние ожидания.

Грантовая зависимость дополняет эту картину. Если значительная часть исследовательских и экспертных проектов финансируется внешними фондами, возникает структурный стимул к адаптации тематики и выводов под приоритеты доноров. Это не обязательно принимает форму прямого давления; чаще речь идет о более тонком механизме — выборе «релевантных» тем, формулировке проблем в понятиях, понятных и приемлемых для внешних акторов.

На уровне институтов когнитивная зависимость приобретает более формализованный характер. Здесь важную роль играют глобальные рейтинги и стандарты. Позиции университетов в рейтингах сами по себе являются лишь индикатором, но ориентация государственной политики на их повышение превращает эти рейтинги в инструмент структурного давления. Когда финансирование, карьерные траектории и институциональный статус зависят от внешних оценок, возникает стимул адаптировать деятельность под их критерии.

Расширение англоязычных образовательных программ также является двусмысленным явлением. С одной стороны, оно облегчает международную интеграцию; с другой — может вытеснять национальные языки из сфер научного и профессионального мышления. Это ведет к постепенной утрате способности формулировать сложные концепции в собственном языковом пространстве.

Зависимость от зарубежных баз данных и издательств фиксирует инфраструктурный аспект. Когда доступ к научной информации, индексации и признанию контролируется внешними структурами, национальные системы знания оказываются встроенными в глобальную иерархию на подчиненных позициях. Финансирование из зарубежных источников усиливает этот эффект, создавая дополнительную привязку к внешним приоритетам.

Наиболее трудно поддающимся измерению остается уровень дискурса, но именно он позволяет понять глубину когнитивного захвата. Здесь речь идет не о формальных связях, а о содержании мышления. Один из возможных индикаторов — концептуальный репертуар. Частота использования определенных понятий, заимствованных из глобального мейнстрима, может служить сигналом зависимости, особенно если эти понятия используются без адаптации к локальному контексту.

Не менее показателен выбор критериев оценки. Если экономическая или политическая политика систематически оценивается через призму внешних индексов и рейтингов, это свидетельствует о перенесении центра легитимации вовне. В таком случае внутренние цели развития начинают подчиняться внешним метрикам.

Нарративы о национальной истории также играют важную роль. Преобладание интерпретаций, описывающих развитие страны исключительно в категориях «отставания» и «догоняния», формирует устойчивое ощущение вторичности. Это влияет не только на самооценку общества, но и на стратегические решения элит.

Даже язык профессионального общения может выступать индикатором. Массовое использование англицизмов и калькированных терминов отражает не просто заимствование лексики, а перенос категориального аппарата, в котором формулируются проблемы и решения.

Объединение этих разнородных показателей в единый индекс требует формализации. В первом приближении можно ввести композитный показатель — Индекс когнитивной зависимости (CDI), агрегирующий три уровня анализа:

$$CDI = \alpha \cdot CDI_{elites} + \beta \cdot CDI_{institutions} + \gamma \cdot CDI_{discourse}, \alpha + \beta + \gamma = 1$$

где каждый компонент представляет собой нормированное значение соответствующего блока индикаторов. При отсутствии теоретических оснований для приоритизации одного уровня над другим допустимо использовать равные веса: $1\ \alpha = \beta = \gamma = -3$

Такой индекс не претендует на точность в строгом статистическом смысле, но позволяет проводить сравнительный анализ и отслеживать динамику. Его ценность заключается в возможности выявлять структурные различия между странами и фиксировать изменения во времени.

Само введение индекса подчеркивает важную мысль: когнитивный суверенитет — не абстрактная категория, а измеряемое состояние, имеющее конкретные институциональные и поведенческие проявления. Даже приблизительные оценки позволяют перевести дискуссию из сферы идеологических утверждений в область аналитического сравнения, где возможна проверка гипотез и уточнение механизмов.

11.2. Анализ карьерных траекторий элит: образование за рубежом и карьерные пути

Переход от концептуальной рамки к эмпирическому анализу целесообразно начать с уровня элит, поскольку именно через них когнитивный захват наиболее явно материализуется в институциональных решениях и стратегиях развития. В данном разделе рассматриваются образовательные и карьерные траектории экономических элит как один из ключевых каналов формирования когнитивной зависимости.

Для пилотного анализа была сформирована выборка, включающая представителей правительств, центральных банков и ведущих экспертных сообществ (think-tank’и, медийные экономисты) в 15 странах, охватывающих ядро (США, Великобритания), полупериферию (Россия, Бразилия, Турция, Мексика) и периферию (Нигерия, Вьетнам, Бангладеш). Такой дизайн позволяет выявить не только абсолютные значения показателей, но и структурные различия между уровнями мировой системы.

Для каждого индивида фиксировались три ключевых параметра: наличие высшего образования (магистратура, PhD), полученного в университетах США или Великобритании; опыт работы в международных финансовых организациях (прежде всего МВФ и Всемирный банк); опыт работы в глобальных корпорациях или западных аналитических центрах. Эти показатели отражают разные аспекты когнитивной социализации — от формирования базовых теоретических установок до включенности в глобальные практики принятия решений. Полученные результаты суммированы в таблице.

Эти данные демонстрируют несколько устойчивых закономерностей. Прежде всего обращает на себя внимание высокая доля западного образования среди элит полупериферийных и периферийных стран. Более половины представителей полупериферии и почти две трети представителей периферии получили образование в университетах США или Великобритании. Это указывает на структурную зависимость национальных элит от внешних центров подготовки кадров.

Таблица 11.1.

Образовательные и карьерные траектории экономических элит
(в % от численности группы)

Группа стран	**Степень в США / Великобритании**	**Опыт в МВФ/ВБ**	**Опыт в глобальных корпорациях/ think-tank'ах**
Ядро (США, Великобритания)	95% (национальные университеты)	25%	40%
Полупериферия (Россия, Бразилия, Турция, Мексика)	52%	18%	22%
Периферия (Нигерия, Вьетнам, Бангладеш)	68%	32%	15%

Особенно показательна ситуация в периферийных странах, где доля западного образования оказывается даже выше, чем в полупериферии. Это может объясняться сочетанием двух факторов: слабостью национальных университетских систем и активной политикой образовательной экспансии со стороны стран ядра, использующих стипендиальные программы как инструмент формирования лояльных и когнитивно интегрированных элит.

Отдельного внимания заслуживает опыт работы в международных финансовых организациях. Его доля максимальна именно в периферийных странах. МВФ и Всемирный банк в этом контексте выступают не только как кредиторы или консультанты, но и как институциональные «инкубаторы», формирующие стандартизированный набор экономических представлений и управленческих практик. Включенность в эти структуры означает не просто профессиональный опыт, но и усвоение определенной парадигмы экономической политики.

Интересно, что опыт работы в глобальных корпорациях и think-tank’ах более характерен для стран ядра, где такие структуры являются частью национальной институциональной среды. В полупериферии и периферии этот показатель ниже, что отражает асимметрию в распределении глобальных центров принятия решений.

Российский случай в рамках полупериферии демонстрирует показатели, близкие к средним по группе: около половины представителей экономической элиты имеют западное образование или опыт работы в международных организациях. Однако агрегированные цифры скрывают важные временные и качественные различия, которые становятся заметны при более детальном анализе.

В 1990-е годы экономическая элита России формировалась в условиях радикальной институциональной трансформации и высокой зависимости от внешних источников экспертизы. Значительная часть ключевых фигур

либо получила образование на Западе, либо прошла интенсивную подготовку в рамках международных программ. Их когнитивные рамки были тесно связаны с доминирующей в тот период экономической ортодоксией, ассоциируемой с «Вашингтонским консенсусом». Национальная специфика и институциональное наследие рассматривались преимущественно как препятствия, требующие демонтажа.

В 2000–2010-е годы структура элиты стала более неоднородной. Увеличилась доля специалистов с отечественным образованием, в том числе выходцев из силовых и технических структур. При этом ключевые экономические институты — центральный банк, финансово-экономический блок правительства — продолжали находиться под влиянием специалистов, интегрированных в глобальную профессиональную среду. Возникла гибридная когнитивная модель, сочетающая элементы макроэкономической ортодоксии с практиками государственного вмешательства.

После 2022 года наблюдается заметный сдвиг в сторону риторики суверенитета и отказа от прямой ориентации на внешние стандарты. Однако этот сдвиг носит преимущественно политико-дискурсивный характер. Когнитивные установки, сформированные в предыдущие десятилетия, обладают высокой инерцией. Это проявляется в сохранении прежних подходов к макроэкономической политике и в осторожности при переходе к альтернативным моделям развития.

В целом анализ карьерных траекторий показывает, что когнитивный захват не является бинарным состоянием — он не возникает и не исчезает одномоментно. Речь идет о динамическом процессе, в котором периоды глубокой зависимости могут сменяться попытками восстановления автономии. Однако даже при изменении политического курса ранее усвоенные когнитивные рамки продолжают оказывать влияние, формируя долгосрочную траекторию развития.

11.3. Контент-анализ экспертного дискурса: чьи концепты доминируют?

Если анализ карьерных траекторий позволяет зафиксировать каналы когнитивной социализации элит, то исследование дискурса дает возможность увидеть, как эти когнитивные рамки проявляются на уровне языка, категорий и аргументов. Дискурс — это не просто отражение реальности, а инструмент ее конструирования. Через него задаются допустимые вопросы, формируются критерии оценки и очерчиваются границы «разумного» и «немыслимого».

Для выявления динамики когнитивных рамок был проведен пилотный контент-анализ публикаций ведущих российских экономических изданий и экспертных центров. Сравнивались два временных интервала:

начало 2000-х годов, характеризующееся высокой степенью интеграции в глобальную экономику, и период 2018–2023 годов, когда усилились санкционное давление и дискурс суверенитета. Такой выбор позволяет проследить, как меняется концептуальный язык в ответ на трансформацию внешнеполитической и экономической среды.

Методологически анализ строился вокруг сопоставления двух групп концептов. Первая группа включает категории, характерные для глобалистского дискурса: «инвестиционный климат», «структурные реформы», «верховенство права» (в узко институциональном, формально-юридическом смысле), «конкурентоспособность», «интеграция в мировую экономику», «либерализация». Эти понятия отражают логику включения в глобальные рынки и соответствия внешним стандартам. Вторая группа объединяет концепты, связанные с идеей суверенитета: «импортозамещение», «технологический суверенитет», «экономическая безопасность», «национальные интересы», «промышленная политика», «стратегические отрасли», «дедолларизация». Они выражают повестку автономии и внутреннего развития. Результаты анализа представлены в таблице.

Таблица 11.2.

Частота употребления ключевых концептов в российском экономическом дискурсе (упоминаний на 1000 слов)

Концепт	**2000–2005**	**2018–2023**	**Изменение**
Группа А («глобалистские»)			
Инвестиционный климат	4.2	2.1	−50%
Структурные реформы	3.8	1.5	−61%
Верховенство права	2.5	0.9	−64%
Интеграция в мировую экономику	3.1	0.8	−74%
Либерализация	2.2	0.6	−73%
Среднее по группе А	3.16	1.18	−63%
Группа Б («суверенные»)			
Импортозамещение	0.5	4.8	+860%
Технологический суверенитет	0.1	3.2	+3100%
Экономическая безопасность	0.8	3.5	+338%
Национальные интересы	1.2	3.1	+158%
Промышленная политика	0.6	2.9	+383%
Среднее по группе Б	0.64	3.50	+447%

Картина, возникающая из этих данных, достаточно выразительна. За два десятилетия произошел глубокий сдвиг в структуре экономического дискурса. Концепты, связанные с интеграцией в глобальную экономику и

адаптацией к внешним стандартам, утратили доминирующее положение. Их частота употребления снизилась более чем вдвое, а по отдельным позициям — почти в четыре раза. Параллельно наблюдается стремительный рост понятий, связанных с суверенитетом, безопасностью и внутренним развитием.

Особенно показателен рост концепта «технологический суверенитет», который в начале 2000-х практически отсутствовал в дискурсе, а в последние годы стал одним из центральных. Сходную динамику демонстрирует «импортозамещение», превратившееся из маргинальной темы в один из ключевых элементов экономической политики. Это отражает не только изменение риторики, но и структурный сдвиг в приоритетах.

При этом концепты, связанные с институциональными реформами в их классическом либеральном понимании, постепенно уходят на периферию дискурса. Понятие «верховенства права», например, сохраняется, но теряет частотность и меняет контекст употребления. Аналогично «структурные реформы» перестают выступать как универсальный рецепт развития.

Однако интерпретация этих изменений требует осторожности. Сдвиг в языке не обязательно означает столь же глубокую трансформацию когнитивных установок. Дискурс может адаптироваться быстрее, чем меняются реальные представления и практики. В этом смысле возможно расхождение между риторикой и мышлением: новые слова используются для описания старых логик.

Существует и другая возможность — постепенное формирование гибридной когнитивной модели, в которой элементы прежнего глобалистского подхода сочетаются с новыми установками на суверенитет. Такая модель может быть внутренне противоречивой, но именно она часто характеризует переходные периоды.

Тем не менее сам масштаб изменений — особенно кратный рост «суверенных» концептов — указывает на то, что речь идет не о косметической корректировке, а о глубокой перестройке публичного экспертного поля. Даже если часть этого сдвига носит адаптивный характер, он неизбежно влияет на формирование новой когнитивной среды, в которой действуют элиты и формируется общественное восприятие экономической политики.

Контент-анализ в данном случае выступает не как окончательное доказательство, а как индикатор направления изменений. Он фиксирует смещение центра тяжести дискурса — от ориентации на внешние стандарты к акценту на внутренние ресурсы и автономию. Насколько этот сдвиг окажется устойчивым и приведет ли он к реальному изменению когнитивных рамок, остается открытым вопросом, требующим дальнейшего исследования.

11.4. Кейс: российские экономические реформы 1990-х — когнитивный захват или рациональный выбор?

Российские экономические реформы 1990-х годов остаются одной из самых спорных тем постсоветской истории. Их интерпретация колеблется между двумя полюсами: с одной стороны — представление о неизбежной модернизации и переходе к рынку, с другой — критика как примера глубокой зависимости элит от внешних когнитивных рамок. В рамках данной работы интерес представляет не столько выбор одной из позиций, сколько анализ структуры аргументов и попытка увидеть за ними более сложную картину.

Сторонники интерпретации реформ как проявления когнитивного захвата обращают внимание прежде всего на состав реформаторской элиты и источники ее интеллектуальной социализации. Экономический блок правительства формировался из людей, ориентированных на западную экономическую теорию, многие из которых прошли обучение или переподготовку в рамках международных программ. Их мышление было встроено в доминирующую на тот момент парадигму — совокупность представлений о либерализации, приватизации и макроэкономической стабилизации как универсальных инструментах перехода к эффективной экономике.

Особое значение придается тому, что эти представления воспринимались не как одна из возможных моделей, а как научно обоснованный и практически безальтернативный путь. Вопрос о применимости этих моделей к специфическим условиям постсоветской экономики — с ее институциональной пустотой, отсутствием устойчивых правовых норм и слабой контрактной культурой — отодвигался на второй план. В этом смысле когнитивный захват проявлялся не в прямом внешнем навязывании решений, а в принятии определенной картины мира как самоочевидной.

Критики также указывают на роль западных советников и международных организаций, которые активно участвовали в формировании экономической политики. Их рекомендации обладали высоким символическим капиталом и воспринимались как носители «правильного» знания. Это усиливало асимметрию: национальная экспертиза оказывалась вторичной по отношению к внешним источникам легитимации.

Результаты реформ — резкое падение производства, гиперинфляция, рост неравенства и формирование олигархической структуры экономики — рассматриваются в этой логике как следствие неадекватности примененных моделей. Сама глубина кризиса интерпретируется как индикатор того, что рецепты, разработанные для иных институциональных условий, были механически перенесены в неподходящую среду.

Однако альтернативная интерпретация предлагает иной взгляд на те же события. С этой точки зрения реформаторы действовали в условиях

крайней неопределенности и институционального распада. Советская экономика к началу 1990-х годов уже не функционировала как целостная система: дефицит, разрыв хозяйственных связей и политическая дестабилизация делали сохранение статус-кво невозможным. В таких условиях выбор стоял не между «идеальной» и «ошибочной» моделью, а между различными сценариями кризисного управления.

В пользу этой позиции говорит и ограниченность доступных знаний. Российские реформаторы не располагали ни собственными разработанными теориями перехода, ни успешными историческими прецедентами, полностью сопоставимыми с их ситуацией. Естественным источником решений становилась доминирующая международная экономическая теория, которая в тот момент предлагала достаточно четко артикулированный набор рекомендаций. Использование этих рекомендаций можно рассматривать как рациональный выбор в условиях дефицита альтернатив.

Не менее важны политические ограничения. Реформы осуществлялись в условиях слабого государства, острой борьбы за власть и отсутствия устойчивых институтов. Многие решения носили компромиссный характер и были обусловлены необходимостью удержания политической коалиции. Приватизация, в том числе ее наиболее спорные формы, выполняла не только экономическую, но и политическую функцию.

Наконец, сторонники либеральной интерпретации обращают внимание на долгосрочные эффекты. Несмотря на драматические издержки, в последующие десятилетия российская экономика смогла стабилизироваться и продемонстрировать рост. Это позволяет утверждать, что базовые элементы рыночной системы, сформированные в 1990-е годы, сыграли свою роль.

Противопоставление этих двух подходов оказывается менее продуктивным, чем попытка их синтеза. Такой синтез возможен, если рассматривать реформы через призму ограниченной рациональности. В этой перспективе действия реформаторов не сводятся ни к «ошибке», ни к «предательству», ни к полностью осознанному стратегическому выбору. Они представляют собой адаптацию к экстремальной ситуации с использованием доступных когнитивных инструментов.

Ограниченная рациональность проявлялась сразу в нескольких измерениях: дефицит времени, нехватка информации, отсутствие институциональной памяти и доминирование одной теоретической парадигмы в глобальном научном поле. В таких условиях западная экономическая модель воспринималась не как одна из альтернатив, а как единственный структурированный ответ на кризис. Это и есть механизм когнитивного захвата в его «мягкой» форме — не через принуждение, а через отсутствие конкурирующих когнитивных рамок.

Такой взгляд позволяет по-новому интерпретировать события 1990-х годов. Речь идет не столько о навязывании извне, сколько о структурной

асимметрии в производстве знания. Страны, обладающие развитой научной и экспертной инфраструктурой, формируют глобальные модели, которые затем воспринимаются как универсальные. Страны, лишенные таких ресурсов, вынуждены заимствовать эти модели, часто без достаточной адаптации.

Практическое значение этого анализа выходит далеко за пределы исторической оценки реформ. Он показывает, что преодоление когнитивной зависимости невозможно исключительно через политическую волю или риторику суверенитета. Необходима институциональная база для производства альтернативного знания — собственные научные школы, экспертные центры, механизмы критической рефлексии. Без этого любые попытки выйти за пределы доминирующих парадигм будут сталкиваться с тем же ограничением, с которым столкнулись реформаторы 1990-х годов: отсутствием интеллектуальных инструментов для иного выбора.

11.5. Выводы и направления дальнейших исследований

Проведенный анализ позволяет перейти от абстрактного описания когнитивного захвата к более предметному пониманию его механизмов и проявлений. Ключевое значение имеет сам факт возможности его операционализации. Несмотря на сложность и неизбежную неполноту измерений, предложенный подход демонстрирует, что когнитивная зависимость может быть зафиксирована через совокупность индикаторов, охватывающих элиты, институты и дискурс. Это открывает путь к систематическому сравнительному анализу и эмпирической проверке гипотез, ранее остававшихся в сфере теоретических рассуждений.

Анализ карьерных траекторий элит выявляет устойчивый структурный паттерн: значительная часть представителей политического и экспертного класса в странах полупериферии и периферии проходит социализацию в институтах стран ядра. Речь идет не только о передаче знаний, но и о формировании когнитивных рамок — способов постановки проблем, критериев оценки и представлений о «нормальной» экономической политике. Такая интеграция создает долговременную зависимость, которая сохраняется даже при изменении политического курса.

Дискурсивный анализ дополняет эту картину, показывая, как меняется язык, в котором формулируются экономические и политические задачи. Российский кейс демонстрирует резкий сдвиг от концептов, связанных с глобальной интеграцией, к категориям суверенитета и внутреннего развития. Этот сдвиг носит масштабный характер и отражает трансформацию внешнеполитического и экономического контекста. Однако сам по себе он не дает однозначного ответа на вопрос о глубине изменений. Возможна си-

туация, при которой происходит быстрая адаптация риторики при сохранении прежних когнитивных установок. Это различие между языком и мышлением становится принципиально важным для дальнейших исследований.

Рассмотрение реформ 1990-х годов позволяет увидеть, что когнитивный захват не всегда является результатом внешнего давления или сознательного выбора в пользу чужих интересов. Он может возникать как следствие ограниченной рациональности в условиях структурного неравенства глобальной системы знания. Когда одна парадигма доминирует в научном и экспертном поле, альтернативы оказываются либо недоступными, либо недостаточно разработанными. В такой ситуации даже рациональные и добросовестные акторы воспроизводят внешние когнитивные рамки, не имея возможности их полноценно критически переосмыслить.

Этот вывод имеет важное методологическое и практическое значение. Он смещает акцент с поиска «виновных» на анализ структурных условий, в которых формируются решения. Когнитивный суверенитет в таком контексте оказывается не столько вопросом политической воли, сколько результатом развития собственной интеллектуальной инфраструктуры — науки, образования, экспертных сообществ.

Перспективы дальнейших исследований вытекают из выявленных ограничений. Необходим более широкий сравнительный анализ, позволяющий сопоставить разные страны и исторические периоды с точки зрения степени когнитивной зависимости и ее влияния на экономическую политику. Особую ценность могут представлять глубинные интервью с представителями элит, позволяющие выйти за пределы публичной риторики и зафиксировать реальные когнитивные установки, часто неосознаваемые самими акторами.

Дополнительным направлением является анализ непубличных коммуникаций и внутренних документов, где формулируются решения без необходимости их легитимации перед широкой аудиторией. Именно в таких источниках могут проявляться реальные критерии оценки и скрытые допущения, определяющие стратегию действий.

Наконец, перспективным представляется использование экспериментальных методов — в том числе поведенческих и когнитивных — для выявления устойчивых искажений и зависимостей в принятии решений. Это позволяет перейти от описания внешних проявлений к анализу внутренних механизмов когнитивного захвата.

В совокупности эти направления формируют исследовательскую программу, направленную на более глубокое понимание того, как формируются и воспроизводятся когнитивные рамки в глобальной системе неравенства. Переход к заключительной части работы предполагает уже не столько анализ, сколько синтез — формулировку практических выводов и нормативной модели, ориентированной на преодоление рентной логики и формирование элиты, способной к автономному целеполаганию и служению общественным интересам.

Часть V. ПРАКТИЧЕСКИЕ ИМПЛИКАЦИИ И НОРМАТИВНАЯ МОДЕЛЬ

Глава 12. Экономическая политика для гражданского патриотизма

Теоретическая модель, разработанная в предыдущих частях, и проведенный эмпирический анализ позволяют перейти от диагноза к рецептам. В этой главе формулируются конкретные рекомендации экономической политики, направленные на формирование и укрепление экономической базы гражданского патриотизма в условиях периферийного капитализма.

Важно подчеркнуть: речь не идет о универсальной «дорожной карте». Институциональные и исторические контексты различаются, и любые меры требуют адаптации. Тем не менее, ряд принципов обладает высокой степенью обобщаемости. Они сгруппированы по четырем направлениям: фискальная политика, политика в отношении элит, образование и наука, цифровая политика.

12.1. Фискальная реформа: прогрессивное налогообложение и прозрачность бюджета

Фискальная система — наиболее непосредственный канал взаимодействия государства и граждан. Именно через налоги и государственные расходы формируется базовый уровень доверия к институтам. Восприятие справедливости налоговой системы и прозрачности бюджета во многом определяет готовность граждан добровольно участвовать в финансировании государства.

Как показал проведенный анализ (Глава 10), в странах с высоким неравенством и регрессивной налоговой системой уровень налоговой морали систематически ниже. Плоские ставки подоходного налога, высокая доля косвенных налогов, ложащихся на широкие слои населения, а также мягкий режим налогообложения рентных доходов подрывают восприятие справедливости.

Рекомендации:

1. Введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Переход от плоской к прогрессивной системе налогообложения, при которой ставка растет вместе с доходом. Конкретные параметры могут варьироваться, но сам принцип прогрессивности является ключевым для восстановления доверия к системе.
2. Налогообложение рентных доходов. Доходы от капитала (дивиденды, проценты, прирост стоимости активов), а также природная рента

должны облагаться по ставкам, не ниже трудовых доходов. Это снижает дисбаланс между производительной деятельностью и извлечением ренты.

3. Реформа имущественного налогообложения. Введение прогрессивных налогов на дорогую недвижимость, предметы роскоши, крупные наследства. Эти меры важны не только фискально, но и как сигнал социальной справедливости.

4. Снижение регрессивности косвенных налогов. Возможное снижение НДС на товары первой необходимости или введение дифференцированных ставок для социально значимых категорий.

5. Борьба с уклонением от налогов. Усиление налогового администрирования, контроль за соответствием доходов и расходов, ликвидация офшорных схем, международный обмен налоговой информацией. Без этого прогрессивная система останется формальной.

Не менее важным является вопрос расходования бюджетных средств. Даже справедливая налоговая система не воспринимается как легитимная, если граждане не понимают, куда направляются их деньги, и не видят результатов в виде качественных публичных благ. Непрозрачность бюджета и неэффективность расходов разрушают доверие и подрывают фискальный контракт.

Рекомендации:

1. Радикальное повышение прозрачности бюджета.

- Публикация данных в машиночитаемых форматах (open data).
- Создание понятных цифровых интерфейсов для отслеживания доходов и расходов.
- Обязательное публичное обсуждение бюджетов и отчетов.

2. Реформа системы государственных закупок.

- Обеспечение реальной конкуренции, а не формальной.
- Раскрытие конечных бенефициаров подрядчиков.
- Внедрение автоматизированного мониторинга для выявления сговоров.
- Ужесточение ответственности за нарушения.

3. Развитие инициативного бюджетирования. Вовлечение граждан в распределение части бюджетных средств (особенно на муниципальном уровне) как инструмент повышения доверия и участия.

4. Переход к оценке по результатам. Эффективность бюджетных расходов должна измеряться не освоением средств, а реальными результатами — качеством инфраструктуры, уровнем образования, здравоохранения и безопасности.

5. Институционализация общественного контроля. Расширение полномочий независимых экспертных структур и общественных институтов в мониторинге бюджетной политики.

В совокупности эти меры направлены на трансформацию фискальной системы из инструмента изъятия ресурсов в основу устойчивого социального контракта. Именно в таком формате она способна поддерживать не только экономическую устойчивость, но и формирование гражданского патриотизма как практики ответственности, а не декларации.

12.2. Политика в отношении элит: ограничение «вращающихся дверей» и публичная подотчетность

Как неоднократно подчеркивалось ранее, именно элиты выступают ключевым проводником либо рентной логики, либо логики служения. От их мотиваций, норм поведения и институциональных ограничений зависит, будет ли государство функционировать как инструмент извлечения ренты или как механизм координации общественных интересов. Переход к модели гражданского патриотизма невозможен без системной трансформации самой структуры элит и правил их воспроизводства.

Одной из центральных проблем является феномен «вращающихся дверей» — постоянного перехода чиновников в бизнес-структуры и обратно. В условиях слабых институтов это создает устойчивую конфигурацию конфликта интересов: решения принимаются не в логике общественного блага, а с учетом будущих карьерных и финансовых выгод. Это подрывает доверие к государству даже в тех случаях, когда формальных нарушений закона не происходит.

Рекомендации:

1. Введение длительного «периода охлаждения». Для высших должностных лиц необходимо законодательно закрепить запрет на переход в коммерческие структуры, связанные с их сферой ответственности, сроком не менее 5–7 лет. Такой механизм снижает стимулы к принятию решений в интересах потенциальных работодателей.
2. Создание независимого органа по этике и конфликту интересов. Этот институт должен обладать реальными полномочиями: проверка деклараций, расследование случаев конфликта интересов, вынесение обязательных предписаний. Ключевое условие его эффективности — институциональная независимость от исполнительной власти и крупных экономических групп.
3. Запрет на офшорные активы для высших должностных лиц. Наличие зарубежных счетов и активов создает прямой конфликт лояльностей. Такой запрет должен сопровождаться не декларациями, а механизмами проверки и жесткими санкциями за нарушения.

Не менее важным элементом является прозрачность имущественного положения элит. Без доступа к информации о доходах и активах невозможно ни общественное доверие, ни эффективный контроль. Непрозрачность создает пространство для скрытого обогащения и усиливает ощущение несправедливости.

Рекомендации:

1. Полное раскрытие информации о доходах и имуществе. Декларации должны охватывать не только самих должностных лиц, но и членов их семей, включая активы, обязательства и источники доходов. При этом информация должна быть публичной и доступной для анализа.
2. Создание реестров бенефициарных владельцев. Все компании, получающие доступ к государственным ресурсам — через контракты, субсидии или лицензии, — должны раскрывать конечных собственников. Это критически важно для борьбы с аффилированностью и скрытым перераспределением ренты.
3. Открытый доступ к данным. Информация должна предоставляться в удобных цифровых форматах, позволяющих ее обработку и анализ как со стороны СМИ, так и со стороны гражданского общества.

Однако одних ограничений и контроля недостаточно. Не менее важна позитивная повестка — формирование новой модели элиты, основанной на компетенции, ответственности и ориентации на общественное благо. Рентная элита воспроизводится через закрытые сети, личные связи и неформальные договоренности. Элита служения требует институционализированных механизмов отбора.

Рекомендации:

1. Открытые и конкурентные процедуры назначения. Ключевые позиции в государственном аппарате и государственных компаниях должны замещаться через прозрачные конкурсы с участием независимых экспертов. Это снижает роль неформальных связей и повышает качество отбора.
2. Система целевых образовательных программ. Государство может инвестировать в подготовку управленческих кадров, предоставляя стипендии для обучения в ведущих университетах — как национальных, так и зарубежных — с обязательством последующей государственной службы. Такой подход позволяет сочетать глобальную компетентность с национальной привязкой.
3. Формирование кадрового резерва. Отбор должен строиться на объективных критериях — профессиональных достижениях, управленческих навыках, способности к стратегическому мышлению — а не на личной лояльности.

4. Создание национальных институтов подготовки элиты. Специализированные образовательные центры, ориентированные на подготовку управленцев, способны играть ключевую роль. Их задача — не только передача знаний, но и формирование определенного этоса: понимания национальных интересов, ответственности перед обществом и способности к институциональному мышлению.

В совокупности, эти меры направлены на разрыв механизма воспроизводства рентной элиты. Они формируют институциональную среду, в которой служение становится не моральным выбором отдельных индивидов, а рациональной стратегией поведения. Именно в такой среде гражданский патриотизм перестает быть риторикой и начинает проявляться в устойчивых практиках управления и ответственности.

12.3. Образование и наука: стратегия когнитивного суверенитета

Когнитивный суверенитет, как было показано ранее, представляет собой не абстрактную категорию, а фундаментальное условие способности общества к самостоятельному целеполаганию. В цифровую эпоху именно через образование и науку формируются когнитивные рамки, в которых мыслит как элита, так и широкие слои населения. Если эти рамки заимствуются без критической адаптации, возникает зависимость не только технологическая или экономическая, но и смысловая.

Одной из ключевых проблем является существующая система оценки научной деятельности, ориентированная преимущественно на внешние стандарты. Привязка академической карьеры к публикациям в журналах, индексируемых в международных базах, формирует специфическую структуру стимулов: ученые вынуждены подстраивать тематику, язык и методологию своих исследований под внешние требования. Это ведет к постепенному вытеснению национально значимых тем и снижению роли локальных научных традиций.

Рекомендации:

1. Разработка национальной системы оценки научной деятельности. Она должна учитывать широкий спектр результатов: публикации на национальном языке, создание учебной литературы, прикладные разработки, участие в решении конкретных государственных задач, экспертную деятельность и популяризацию науки. Такой подход позволяет вернуть баланс между глобальной и национальной научной повесткой.

2. Создание альтернативной наукометрической инфраструктуры. Национальные базы данных, системы индексирования и рецензирования могут выступать не как замена международных систем, а как их дополнение, обеспечивая признание исследований, ориентированных на внутренние задачи.

3. Поддержка национальных журналов и издательств. Финансовая и институциональная поддержка должна сочетаться с требованиями высокого качества. Перевод лучших работ на иностранные языки позволяет обеспечить международную видимость без утраты интеллектуальной автономии.

Не менее важной является проблема содержания образования. В ряде случаев образовательные программы, особенно в социальных и гуманитарных дисциплинах, воспроизводят внешние концептуальные схемы без учета национального контекста. Это приводит к формированию специалистов, хорошо ориентированных в глобальных теориях, но слабо понимающих специфику собственной страны.

Рекомендации:

1. Обновление образовательных программ. Введение курсов, посвященных национальной истории, институциональной экономике, политической системе, должно основываться на современных научных подходах и сочетать критичность с уважением к собственной традиции.
2. Развитие критического мышления. Образование должно формировать способность анализировать источники информации, выявлять скрытые предпосылки и различать факты и интерпретации. Это особенно важно в условиях информационной перегруженности и распространения алгоритмически управляемого контента.
3. Поддержка национальных языков и культур. Создание качественного образовательного и научного контента на национальных языках является необходимым условием сохранения когнитивного разнообразия и доступности знаний.
4. Сбалансированная академическая мобильность. Обучение за рубежом должно рассматриваться как ресурс, а не как канал утечки человеческого капитала. Механизмы возврата и интеграции полученных знаний в национальную систему становятся здесь принципиальными.

Третьим элементом стратегии когнитивного суверенитета выступает развитие собственной экспертной инфраструктуры. В условиях дефицита национальных аналитических центров возрастает зависимость от внешних источников экспертизы, которые неизбежно транслируют собственные приоритеты и когнитивные рамки.

Рекомендации:

1. Создание сети национальных think-tank’ов. Такие центры должны специализироваться на ключевых направлениях государственной политики и обеспечивать производство независимой, качественной экспертизы.
2. Диверсификация источников финансирования. Комбинация государственных грантов, частных пожертвований, эндаументов и контрактных

исследований позволяет снизить зависимость от одного источника и повысить устойчивость.

3. Интеграция экспертизы в публичное пространство. Участие аналитических центров в общественных дискуссиях, медиа и законодательном процессе способствует формированию национального дискурса и укрепляет связь между знанием и политикой.

В совокупности эти меры направлены на формирование автономной когнитивной среды, способной не только воспринимать внешние идеи, но и перерабатывать их в соответствии с национальными задачами. Без такой среды любые экономические реформы остаются зависимыми от внешних интерпретаций и лишаются стратегической глубины.

12.4. Цифровая политика: национальные платформы и регулирование ИИ

В условиях платформенного капитализма и стремительного развития систем искусственного интеллекта цифровая политика перестает быть узкоспециализированной областью и превращается в центральный элемент стратегии суверенитета. Контроль над цифровой инфраструктурой, данными и алгоритмами означает контроль над потоками информации, поведением пользователей и, в конечном счете, над процессами формирования смыслов.

Зависимость от глобальных платформ создает системные риски: от утечки данных и утраты технологической автономии до более тонких форм — алгоритмического управления вниманием и поведенческой модификации. В предельном случае речь идет о возможности внешнего вмешательства в экономические, политические и культурные процессы через инфраструктурные механизмы.

Рекомендации:

1. Поддержка национальных цифровых платформ. Необходимо формирование конкурентоспособных альтернатив в ключевых сегментах — поисковые системы, социальные сети, видеохостинги, облачные сервисы, маркетплейсы. Речь идет не о закрытии рынка, а о создании условий для появления устойчивых игроков, способных работать на национальной базе.

2. Переход государственного сектора на национальные решения. Государственные органы и компании с государственным участием должны выступать якорными пользователями отечественного программного обеспечения и цифровых платформ. Это создает масштаб спроса и ускоряет развитие экосистемы.

3. Развитие инфраструктуры хранения и обработки данных. Создание национальных дата-центров и облачных мощностей позволяет обеспечить

контроль над критически важной информацией и снизить зависимость от внешних провайдеров.

4. Ставка на открытые архитектуры. Развитие открытых протоколов и платформ, по аналогии с индийской моделью цифровой общественной инфраструктуры, позволяет избежать чрезмерной концентрации власти у отдельных корпораций и стимулирует инновации.

Параллельно с развитием собственных платформ необходима выстроенная система регулирования глобальных игроков. В отсутствие четких правил платформы склонны действовать в логике минимизации издержек и максимизации контроля, игнорируя национальные интересы.

Рекомендации:

1. Установление обязательных требований для платформ, работающих на национальном рынке.

- наличие официального юридического присутствия;
- локализация персональных данных;
- полная уплата налогов;
- соблюдение национального законодательства в сфере медиа, выборов и защиты уязвимых групп;
- раскрытие принципов работы алгоритмов рекомендаций и модерации.

2. Введение значимых санкций за нарушения. Оборотные штрафы, привязанные к глобальной выручке компаний, создают реальные стимулы к соблюдению правил.

3. Международная координация регулирования. В условиях глобального характера платформ изолированные меры имеют ограниченную эффективность. Согласование подходов с другими странами усиливает переговорную позицию и снижает риски обхода регулирования.

Особое место занимает политика в сфере искусственного интеллекта. Развитие AGI радикально меняет структуру власти в экономике и обществе. Контроль над моделями, данными и вычислительными ресурсами означает контроль над тем, как формируются решения, оценки и интерпретации реальности.

Рекомендации:

1. Инвестиции в национальную экосистему ИИ.

- подготовка кадров на всех уровнях;
- создание исследовательских центров и вычислительной инфраструктуры;
- поддержка компаний, работающих в области ИИ. Без этих элементов страна оказывается в положении постоянного импортера технологий и решений.

2. Формирование нормативной рамки использования ИИ.

- обеспечение прозрачности и объяснимости алгоритмов;
- предотвращение дискриминации;
- защита от манипулятивного использования;
- согласование применения ИИ с национальными правовыми и культурными нормами.

3. Развитие и адаптация открытых моделей. Использование open-source решений позволяет сократить зависимость от закрытых корпоративных систем и ускорить развитие собственных технологий.
4. Международное технологическое сотрудничество. Кооперация с партнерами, не доминирующими на рынке ИИ, открывает возможности для совместной разработки и снижает риски монополизации.

Цифровая политика в таком понимании выходит за рамки технического регулирования. Она становится инструментом формирования новой архитектуры власти, в которой контроль над данными, алгоритмами и платформами определяет способность общества сохранять автономию мышления и действия.

Глава 13. Нормативная модель: от рентной элиты к элите служения

В этой заключительной главе сводятся воедино ключевые элементы всей теоретической конструкции и предлагается целостная нормативная модель перехода от периферийного капитализма, основанного на извлечении ренты, к институциональному порядку, в котором экономическая база опирается на гражданский патриотизм, а центральным актором становится элита служения. Речь идет не о моральной декларации и не о смене риторики, а о глубокой трансформации механизмов воспроизводства власти, распределения ресурсов и производства смыслов. В центре этой трансформации — изменение логики поведения элит: от стратегии максимизации частной ренты в условиях слабых институтов к стратегии институционального инвестирования, при которой долгосрочная устойчивость системы становится источником легитимности и, в конечном счете, благосостояния самих элит.

13.1. Шесть уровней экономической базы гражданского патриотизма

Проведенный анализ позволяет рассматривать экономическую базу гражданского патриотизма как многослойную систему, в которой переплетаются институциональные, фискальные, когнитивные, социальные и

внешнеэкономические компоненты. Эти уровни не существуют изолированно: каждый из них одновременно является и условием, и следствием функционирования других.

Первый уровень — онтологический, или институциональный фундамент. Речь идет о формировании «толстых» институтов, в которых формальные правила, неформальные практики и когнитивные ожидания акторов совпадают и взаимно усиливают друг друга. Именно здесь закладывается базовая возможность доверия как социального ресурса. Когда нормы права действуют избирательно, а их применение зависит от неформальных связей, возникает системное недоверие, подрывающее любые формы кооперации. Напротив, устойчивость правоприменения, независимость судебной системы и реальное ограничение коррупции создают ту среду, в которой соблюдение правил становится рациональным поведением, а не актом наивности.

Второй уровень — фискально-распределительный — задает материальное содержание общественного контракта. Принцип социальной справедливости проявляется здесь в конкретных институтах налогообложения и бюджетной политики. Прогрессивная налоговая система, прозрачный и понятный бюджет, эффективное распределение ресурсов в пользу общественных благ формируют у граждан ощущение участия и взаимной ответственности. Если же фискальная система воспринимается как инструмент перераспределения в пользу узких групп, это разрушает доверие и стимулирует уклонение, подрывая саму основу коллективного действия. Демонтаж механизмов извлечения бюджетной ренты становится в этом контексте не просто антикоррупционной мерой, а ключевым элементом восстановления легитимности государства.

Третий уровень — элитно-кадровый — определяет характер самого субъекта управления. Институциональная лояльность и способность к критической рефлексии формируют основу элиты служения, которая отличается от рентной элиты не столько декларируемыми ценностями, сколько структурой стимулов. Ограничение практик «вращающихся дверей», прозрачность доходов и активов, меритократические процедуры отбора и реальная подотчетность создают институциональные барьеры для превращения власти в инструмент частного обогащения. Без этих условий любые попытки апеллировать к патриотизму элит неизбежно сталкиваются с цинизмом и недоверием со стороны общества.

Четвертый уровень — когнитивно-образовательный — связан с производством и воспроизводством знаний. Когнитивная адекватность означает способность общества адекватно интерпретировать собственную реальность, а когнитивный суверенитет — способность формировать эти интерпретации самостоятельно, не сводя их к заимствованию внешних моде-

лей. Инвестиции в национальную науку, развитие образовательных институтов, формирование критического мышления и медиаграмотности создают ту интеллектуальную среду, в которой возможна автономная стратегия развития. Без этого элиты неизбежно оказываются зависимыми от внешних когнитивных рамок, что ограничивает пространство выбора и делает стратегические решения реактивными.

Пятый уровень — демографически-технологический — задает временное измерение устойчивости системы. Межпоколенческая ответственность проявляется в институтах, обеспечивающих баланс интересов между текущими и будущими поколениями: пенсионная система, рынок труда, инвестиции в человеческий капитал. Одновременно технологические изменения, связанные с развитием искусственного интеллекта, радикально меняют структуру экономики и источники власти. Способность формировать собственные технологические решения и контролировать цифровую инфраструктуру становится необходимым условием сохранения суверенитета. В противном случае страна оказывается в положении потребителя чужих «фабрик смыслов», лишенного контроля над их логикой.

Шестой уровень — мирохозяйственный — определяет положение страны в глобальной системе. Принцип открытости, сочетаемой с защитой национальных интересов, предполагает отказ как от изоляционизма, так и от некритической интеграции. Избирательное участие в глобальных рынках, защита стратегических отраслей, развитие собственных компетенций и противодействие когнитивному захвату позволяют избежать закрепления периферийного статуса. Внешнеэкономическая политика в этой логике становится продолжением внутренней институциональной стратегии, а не ее заменой.

Все шесть уровней образуют динамическую систему, в которой изменения имеют кумулятивный характер. Укрепление институтов повышает эффективность фискальной политики; справедливое распределение ресурсов усиливает доверие; развитие образования формирует базу для обновления элит; технологическая автономия снижает внешние ограничения. Обратные процессы работают с той же силой: деградация любого из уровней запускает цепную реакцию, подрывающую устойчивость всей конструкции. Именно поэтому переход к элите служения нельзя рассматривать как частичную реформу — он требует синхронного движения по всем направлениям, формирующим экономическую и институциональную основу гражданского патриотизма.

13.2. Минимальный нормативный стандарт: что должно быть сделано в первую очередь?

Требовать одновременного и полного достижения идеала по всем шести уровням означало бы подменять политическую стратегию нормативной

утопией. Реальная трансформация всегда начинается не с завершенной системы, а с нескольких узловых решений, которые меняют направление движения и создают предпосылки для последующих преобразований. Именно поэтому необходим минимальный нормативный стандарт — не предельная цель, а первоочередной набор мер, без которых дальнейшее продвижение либо невозможно, либо крайне маловероятно. Речь идет о таких институциональных шагах, которые, будучи ограниченными по числу, обладают максимальным демонстрационным и структурным эффектом.

Шаг 1. Фискальный приоритет: прозрачность бюджета и прогрессивное налогообложение рентных доходов.

Первым и наиболее осязаемым сигналом серьезности намерений государства должна стать реформа фискальной сферы. Именно здесь гражданин быстрее всего получает ответ на фундаментальный вопрос: существует ли в стране хотя бы базовая установка на справедливость. Без такого сигнала любые последующие апелляции к патриотизму, доверию или солидарности будут восприниматься как риторическое прикрытие прежней практики.

В рамках этого приоритета первоочередными мерами должны стать, во-первых, полная публикация всех государственных контрактов, субсидий и иных форм бюджетной поддержки в открытом доступе с указанием конечных бенефициаров. Не формальная отчетность, а именно прозрачность в аналитически пригодной форме должна разрушить пространство, в котором бюджетная рента воспроизводится как скрытый механизм перераспределения. Во-вторых, необходим хотя бы начальный переход к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц — пусть даже в минимальном варианте, с двумя или тремя ступенями. Одновременно требуется повышение ставок на дивиденды, крупные капитальные доходы и иные формы рентного дохода. Именно эта группа доходов должна стать первым объектом фискальной справедливости, поскольку она наиболее явно связана не с производительным вкладом, а с доступом к ресурсам и позициям.

Шаг 2. Кадровый приоритет: ограничение «вращающихся дверей» и конфликта интересов.

Второй шаг должен быть направлен на элиты, поскольку без изменения их стимулов любая реформа будет либо саботирована, либо приспособлена под старые рентные механизмы. Здесь крайне важно не ограничиваться моральными призывами. Необходимо изменить институциональные правила так, чтобы использование государственной позиции как промежуточного этапа для последующего частного обогащения стало значительно более трудным и рискованным.

В качестве первоочередной меры требуется принятие закона о длительном «периоде охлаждения» для высших должностных лиц. Срок менее пяти лет в большинстве случаев будет символическим; именно поэтому минимально разумной представляется планка не менее пяти лет. Это должно

касаться министров, их заместителей, руководителей регуляторов, руководителей государственных компаний и других лиц, имевших доступ к стратегическим решениям. Одновременно необходимо создание действительно независимого антикоррупционного и этического органа, наделенного не консультативными, а реальными полномочиями по проверке деклараций, расследованию конфликтов интересов и применению санкций. Без такой институции ограничение «вращающихся дверей» рискует остаться нормой на бумаге.

Шаг 3. Когнитивный приоритет: реформа оценки научной деятельности.

Третий шаг касается сферы, которая нередко недооценивается в политической практике, но имеет долгосрочное определяющее значение, — науки и образования. Если страна продолжает оценивать интеллектуальный труд почти исключительно через внешние критерии признания, то она воспроизводит зависимость на самом глубоком уровне: уровне того, что считается знанием, успехом и научной значимостью. Поэтому одним из первоочередных решений должна стать реформа системы оценки научной деятельности.

Прежде всего необходим отказ от исключительной ориентации на WoS и Scopus как на почти единственный критерий академической состоятельности. Это не означает отказа от международной науки; речь идет о восстановлении эпистемического баланса. Следующим шагом должна стать разработка и внедрение национальных критериев оценки, которые учитывали бы не только публикации в международных изданиях, но и вклад в решение национальных задач, подготовку кадров, создание монографий и учебников, прикладные исследования, работу на стыке науки и государственной политики. Только при такой переоценке интеллектуального труда можно начать формировать собственную когнитивную инфраструктуру, а не бесконечно адаптироваться к внешней.

Шаг 4. Цифровой приоритет: локализация данных и поддержка национальных платформ.

Четвертый шаг связан с цифровой средой, которая в современных условиях становится не дополнением к суверенитету, а одной из его ключевых основ. Если данные граждан, коммуникационные каналы, облачная инфраструктура и алгоритмические сервисы находятся под внешним контролем, то даже формально независимое государство оказывается ограниченным в возможности проводить автономную политику. Поэтому минимальный стандарт должен включать меры, направленные на закрепление базового цифрового суверенитета.

Первоочередной мерой здесь является законодательное требование хранения персональных данных граждан на территории страны и в рамках юрисдикции, подчиняющейся национальному праву. Это не решает всех проблем, но создает исходную рамку контроля. Второй ключевой шаг —

государственная программа поддержки национальных облачных сервисов, цифровых платформ и инфраструктурных решений. Речь идет не о механическом вытеснении всех внешних игроков, а о создании собственных устойчивых альтернатив в критически значимых сегментах. Без этого цифровая зависимость неизбежно будет воспроизводить и усиливать когнитивную.

В совокупности эти четыре шага образуют тот минимальный нормативный стандарт, который не исчерпывает всей программы перехода, но задает ее исходное направление. Они важны не только по своему непосредственному содержанию, но и по политико-психологическому эффекту. Каждый из них должен работать как видимое доказательство того, что государство способно ограничивать ренту, повышать подотчетность, защищать интеллектуальную автономию и создавать инфраструктуру суверенитета. Без таких первых шагов все более масштабные реформы останутся либо неубедительными, либо институционально необеспеченными.

13.3. Сценарии и риски: что может пойти не так?

Любая нормативная модель, особенно затрагивающая фундаментальные механизмы распределения власти и ресурсов, неизбежно сталкивается с рисками и ограничениями реализации. Игнорирование этих рисков превращает проект реформ в абстрактную конструкцию, лишенную практической ценности. Напротив, их предварительное осмысление позволяет увидеть реальные траектории развития — не только желаемые, но и наиболее вероятные.

Первый и, пожалуй, наиболее распространенный сценарий — имитация реформ. Он возникает в ситуациях, когда давление — внутреннее или внешнее — заставляет власть демонстрировать приверженность изменениям, не меняя при этом сущностных механизмов функционирования системы. Принимаются законы, вводятся новые процедуры, формируются институты, внешне соответствующие лучшим практикам. Однако на уровне реального правоприменения эти нововведения либо блокируются, либо адаптируются под существующие неформальные правила. Бюрократия, обладающая значительным инерционным ресурсом, способна «переваривать» реформы, сохраняя контроль над ключевыми потоками ренты. В результате возникает разрыв между формой и содержанием: институциональная оболочка модернизируется, а практики остаются прежними. Такой сценарий опасен не столько отсутствием результатов, сколько накопительным эффектом цинизма. Каждая новая «реформа без изменений» снижает готовность общества доверять последующим инициативам.

Второй сценарий связан с тем, что сами реформы становятся объектом рентоориентированного захвата. Это более сложная и менее очевидная форма деградации, поскольку она маскируется под движение вперед. Меры,

направленные на ограничение старых рентных механизмов, создают новые точки доступа к ресурсам, которые быстро осваиваются адаптивными элитными группами. Под лозунгами импортозамещения, цифрового суверенитета или поддержки национального бизнеса формируются новые монополии, зачастую еще менее прозрачные, чем прежние. Рентная логика не исчезает, а лишь меняет институциональную форму, встраиваясь в обновленную повестку. В такой ситуации реформы парадоксальным образом усиливают ту самую систему, которую должны были демонтировать, придавая ей дополнительную легитимность за счет «правильной» риторики.

Третий сценарий — авторитарный крен — связан с искажением самой идеи суверенитета. Стремление защитить национальные интересы и ограничить внешнее влияние может перерасти в системное подавление внутренней критики, свертывание публичной дискуссии и усиление контроля над обществом. Граница между защитой когнитивного пространства и его монополизацией оказывается тонкой и подвижной. Когда критическая рефлексия начинает восприниматься как угроза, а не как ресурс, происходит подмена гражданского патриотизма его этатистской версией — основанной на лояльности, но не на участии. В долгосрочной перспективе это ведет к деградации тех самых механизмов, которые обеспечивают устойчивость: ослабевает обратная связь, снижается качество принимаемых решений, усиливается замкнутость элит. Внешне система может выглядеть более управляемой, но ее адаптивность к сложным вызовам резко падает.

Четвертый сценарий — позитивная трансформация — является нормативно желаемым, но институционально наименее автоматическим. Его ключевая особенность заключается в том, что даже ограниченный набор первичных реформ запускает цепную реакцию. Повышение прозрачности, снижение уровня ренты, первые сигналы справедливости формируют рост доверия, который можно интерпретировать как особый вид ресурса — «ренту доверия». Эта рента, в отличие от классической, не извлекается, а накапливается, расширяя пространство возможных действий. Повышается легитимность институтов, снижается сопротивление реформам, формируется коалиция акторов, заинтересованных в их продолжении: части элиты, ориентированной на долгосрочную устойчивость, активных граждан, заинтересованного в предсказуемых правилах бизнеса. В этой логике реформы перестают быть исключительно инициативой сверху и начинают получать поддержку снизу, что принципиально меняет их устойчивость.

Однако даже этот сценарий не является линейным и гарантированным. Он требует редкого сочетания факторов: политической воли, способной преодолевать сопротивление рентных групп; институциональной компетентности, позволяющей проектировать работающие механизмы; относительно благоприятной внешней среды, не создающей чрезмерного давле-

ния; и, что не менее важно, наличия в обществе субъектов, готовых участвовать в изменениях, а не только наблюдать за ними. Отсутствие хотя бы одного из этих элементов способно замедлить или даже обратить процесс.

Рассмотрение этих сценариев подчеркивает ключевую мысль: переход к элите служения и формирование экономической базы гражданского патриотизма не являются неизбежным результатом правильных идей. Это контингентный процесс, зависящий от множества взаимодействующих факторов, где каждое решение может вести как к укреплению, так и к подрыву исходной цели. Именно поэтому нормативная модель должна дополняться постоянным институциональным мониторингом — способностью отслеживать отклонения, корректировать курс и удерживать реформы от скатывания в их имитационные или рентные версии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРИОТИЗМ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Пройденный путь позволяет вернуться к исходной точке — к самому понятию патриотизма, но уже в принципиально иной оптике. В начале исследования он предстал как категория одновременно перегруженная смыслом и лишенная аналитической четкости: востребованная в политике, но размытая в содержании. Попытка вывести его из сферы деклараций и поместить в рамки институционального анализа задала основную логику всей работы.

Философская реконструкция показала, что гражданский патриотизм исторически возникает как альтернатива двум крайностям — этническому национализму и абстрактному космополитизму. Его ядром оказывается не принадлежность к «крови» или безусловная лояльность государству, а приверженность справедливым институтам. Эта приверженность не исключает, а, напротив, предполагает критическую рефлексию. Гражданин не растворяется в государстве и не противопоставляет себя ему, а соучаствует в его воспроизводстве, оценивая его через призму справедливости. Уже на этом уровне становится очевидно: без институциональной основы патриотизм неизбежно вырождается — либо в пустую риторику, либо в инструмент мобилизации без ответственности.

Переход к институционально-экономическому анализу позволил конкретизировать этот тезис. Экономическая база гражданского патриотизма не сводится к уровню доходов или темпам роста. Она определяется структурой институтов и характером распределения ренты. Там, где рента систематически извлекается узкими группами и закрепляется через непрозрачные механизмы, разрушается фундамент доверия. В таких условиях налоговая дисциплина, участие в общественной жизни, готовность к долгосрочным инвестициям в общее благо становятся иррациональными с точки зрения индивидуального поведения. Напротив, появление «ренты доверия» и «ренты легитимности» свидетельствует о качественно иной конфигурации системы, в которой соблюдение правил и участие в коллективных проектах начинают приносить не только моральное, но и практическое вознаграждение.

Цифровая эпоха радикально усложняет эту картину. Глобальные платформы, алгоритмическое управление, развитие искусственного интеллекта создают новые формы власти, которые не укладываются в классические представления о государственном суверенитете. Когнитивное измерение выходит на первый план: способность общества формировать собственные интерпретации реальности становится столь же важной, как контроль над территорией или ресурсами. Когнитивный захват — не метафора,

а реальный механизм воспроизводства зависимости, действующий через образование, экспертные сети, медиа и цифровые инфраструктуры. В этом контексте гражданский патриотизм оказывается невозможен без когнитивного суверенитета, без способности мыслить не только в заимствованных категориях.

Эмпирический анализ подтвердил, что речь идет не о спекулятивной конструкции. Сравнение страновых кейсов показало, что различия в успехе экономического патриотизма объясняются не столько выбранными инструментами, сколько качеством институтов и типом элит. Там, где существует «встроенная автономия» бюрократии, прозрачность и подотчетность, экономический патриотизм может служить инструментом развития. Там, где доминирует рентная логика, он превращается в механизм перераспределения в пользу узких групп. Эконометрические результаты дополнили эту картину, продемонстрировав устойчивую связь между доверием к институтам, конструктивным патриотизмом и налоговой моралью. Патриотизм, лишенный институциональной опоры, не только не усиливает фискальный контракт, но иногда подрывает его.

Анализ когнитивного измерения добавил еще один важный слой. Высокая степень интеграции элит периферийных стран в глобальные образовательные и экспертные сети сочетается с зависимостью от внешних когнитивных рамок. Одновременно наблюдается сдвиг публичного дискурса — от «глобалистских» к «суверенным» концептам, — который не всегда сопровождается реальным изменением глубинных установок. Это расхождение между риторикой и когнитивной практикой создает особое напряжение, характерное для переходных обществ.

Нормативная часть исследования логически вытекает из этих наблюдений. Экономическая политика, ориентированная на формирование гражданского патриотизма, не может ограничиваться отдельными мерами. Она требует системного подхода, включающего реформу фискальной системы, изменение механизмов воспроизводства элит, инвестиции в образование и науку, а также активную цифровую политику. Выделенные шесть уровней экономической базы — от институционального фундамента до мирохозяйственной стратегии — задают структуру этого проекта. Минимальный нормативный стандарт показывает, что даже ограниченный набор первичных мер способен запустить динамику изменений, если он направлен на ключевые точки системы: ренту, доверие, когнитивную автономию и инфраструктуру.

Главный вывод, к которому приводит все исследование, заключается в том, что гражданский патриотизм не возникает спонтанно и не может быть «внедрен» через идеологию. Он формируется как результат длительного институционального процесса. Это проект, требующий согласованной работы на разных уровнях — от реформы налоговой системы до изменения

образовательных стандартов, от ограничения конфликтов интересов до развития цифрового суверенитета. Его успех зависит не только от политической воли, но и от способности общества поддерживать и воспроизводить созданные институты.

Альтернативы этому проекту достаточно очевидны и в равной степени проблематичны. С одной стороны — циничный космополитизм элит, при котором национальные институты рассматриваются как инструмент извлечения ренты, а общество — как источник ресурсов. С другой — закрытый, агрессивный национализм, стремящийся компенсировать институциональную слабость через мобилизацию и исключение. Обе траектории ведут к разрушению социальной ткани, пусть и разными способами.

Гражданский патриотизм занимает между ними более сложную, но и более устойчивую позицию. Он предполагает открытость миру, но не отказ от собственных интересов; уважение к правам человека, но и требование ответственности; признание исторического опыта, но без его сакрализации. Его реализация требует не столько громких деклараций, сколько последовательной работы по демонтажу рентных механизмов и созданию институтов, которые делают справедливость не исключением, а нормой.

Именно здесь начинается практическое измерение всей предложенной модели. Первый шаг в этом направлении — не мобилизация, а рефлексия: способность общества и его элит честно ответить на вопрос о том, какие институциональные ограничения мешают ему действовать как сообществу граждан, а не как совокупности подданных или потребителей. Без этого шага любые дальнейшие усилия рискуют остаться в пределах риторики.

БИБЛИОГРАФИЯ

I. Философские и теоретические источники по патриотизму

1. Аксаков К.С. О внутреннем состоянии России // Аксаков К.С., Аксаков И.С. Литературная критика. М.: Современник, 1982. С. 245–278.
2. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 4. С. 375–644.
3. Бердяев Н.А. Судьба России. М.: Советский писатель, 1990. 346 с.
4. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. 524 с.
5. Ильин И.А. Путь духовного обновления // Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 т. М.: Русская книга, 1993. Т. 1. С. 39–282.
6. Кант И. К вечному миру // Кант И. Сочинения: В 6 т. М.: Мысль, 1966. Т. 6. С. 257–309.
7. Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России // Киреевский И. В. Критика и эстетика. М.: Искусство, 1979. С. 248–293.
8. Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном. М.: Детская литература, 1985. 207 с.
9. Соловьев В. С. Национальный вопрос в России // Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. М.: Правда, 1989. Т. 1. С. 259–437.
10. Франк С. Л. Духовные основы общества. М.: Республика, 1992. 511 с.
11. Appiah K. A. Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers. New York: W. W. Norton, 2006. 224 p.
12. Avineri S. Hegel's Theory of the Modern State. Cambridge: Cambridge University Press, 1972. 268 p.
13. Carrese P. Civic Preparation of American Youth: Reflective Patriotism and Our Constitutional Democracy // The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 2023. Vol. 705, no. 1. P. 88–103.
14. Habermas J. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge, MA: MIT Press, 1996. 631 p.
15. Habermas J. The Postnational Constellation: Political Essays. Cambridge, MA: MIT Press, 2001. 216 p.
16. MacIntyre A. Is Patriotism a Virtue? // The Lindley Lecture. Lawrence: University of Kansas Press, 1984. 20 p.
17. Miller D. On Nationality. Oxford: Oxford University Press, 1995. 224 p.
18. Montesquieu Ch. de. The Spirit of the Laws. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 808 p.
19. Nussbaum M. Patriotism and Cosmopolitanism // For Love of Country: Debating the Limits of Patriotism / Ed. by J. Cohen. Boston: Beacon Press, 1996. P. 2–17.
20. Nussbaum M. The Cosmopolitan Tradition: A Noble but Flawed Ideal. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2019. 320 p.

21. Rousseau J.-J. The Social Contract and Other Later Political Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 384 p.

22. Schatz R. T., Staub E., Lavine H. On the Varieties of National Attachment: Blind versus Constructive Patriotism // Political Psychology. 1999. Vol. 20, no. 1. P. 151–174.

23. Viroli M. For Love of Country: An Essay on Patriotism and Nationalism. Oxford: Oxford University Press, 1995. 216 p.

II. Экономический патриотизм и история экономической мысли

1. Лист Ф. Национальная система политической экономии. М.: Европа, 2005. 382 с.

2. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1955. Т. 4. С. 419–459.

3. Полтерович В.М. Трансплантация экономических институтов // Экономическая наука современной России. 2001. № 3. С. 24–50.

4. Полтерович В.М. Элементы теории реформ. М.: Экономика, 2007. 447 с.

5. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 200 7.960 с.

6. Amsden A. H. Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization. New York: Oxford University Press, 1989. 379 p.

7. Clift B., Woll C. Economic Patriotism: Reinventing Control over Open Markets // Journal of European Public Policy. 2012. Vol. 19, no. 3. P. 307–323.

8. Clift B., Woll C. Economic Patriotism in Open Economies. London: Routledge, 2012. 168 p.

9. Evans P. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton: Princeton University Press, 1995. 344 p.

10. Fetzer T. Economic Patriotism and the Politics of Foreign Investment Screening. LSE 'Europe in Question' Discussion Paper Series. 2012. No. 52. 32 p.

11. Hamilton A. Report on Manufactures. December 5, 1791. URL: https://founders.archives.gov/documents/Hamilton/01-10-02-0001

12. Johnson Ch. MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975. Stanford: Stanford University Press, 1982. 412 p.

13. List F. The National System of Political Economy. London: Longmans, Green and Co., 1909. 366 p.

14. Ricardo D. On the Principles of Political Economy and Taxation. London: John Murray, 1817.

15. Rodrik D. One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth. Princeton: Princeton University Press, 2007. 280 p.

16. Stigler G. J. The Theory of Economic Regulation // The Bell Journal of Economics and Management Science. 1971. Vol. 2, no. 1. P. 3–21.

17. Stiglitz J. E. Globalization and Its Discontents. New York: W. W. Norton, 2002. 304 p.

18. Wade R. Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization. Princeton: Princeton University Press, 1990. 493 p.

III. Институциональная теория, рента и элиты

1. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала, 1997. 190 с.
2. Нуреев Р. М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. М.: Норма, 2008. 640 с.
3. Akerlof G. A. The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism // Quarterly Journal of Economics. 1970. Vol. 84, no. 3. P. 488–500.
4. Aoki M. Toward a Comparative Institutional Analysis. Cambridge, MA: MIT Press, 2001. 560 p.
5. Coase R. H. The Problem of Social Cost // Journal of Law and Economics. 1960. Vol. 3. P. 1–44.
6. Hall P. A., Soskice D. (eds.) Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford: Oxford University Press, 2001. 560 p.
7. Hellman J. S., Jones G., Kaufmann D. Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption, and Influence in Transition // World Bank Policy Research Working Paper. 2000. No. 2444.
8. Hodgson G. M. What Are Institutions? // Journal of Economic Issues. 2006. Vol. 40, no. 1. P. 1–25.
9. Honneth A. The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts. Cambridge: Polity Press, 1995. 240 p.
10. Kahneman D. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. 512 p.
11. Krueger A. O. The Political Economy of the Rent-Seeking Society // American Economic Review. 1974. Vol. 64, no. 3. P. 291–303.
12. Michels R. Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. New York: Free Press, 1962. 379 p.
13. Mosca G. The Ruling Class. New York: McGraw-Hill, 1939. 514 p.
14. North D. C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 152 p.
15. Ostrom E. Understanding Institutional Diversity. Princeton: Princeton University Press, 2005. 376 p.
16. Pareto V. The Mind and Society. New York: Harcourt, Brace and Company, 1935.
17. Putnam R. D. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press, 1993. 280 p.
18. Schumpeter J. A. The Theory of Economic Development. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1934. 255 p.
19. Schumpeter J. A. Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper & Brothers, 1942. 381 p.

20. Thaler R. H., Sunstein C. R. Nudge: The Final Edition. New Haven: Yale University Press, 2021. 384 p.
21. Tullock G. The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft // Western Economic Journal. 1967. Vol. 5, no. 3. P. 224–232.
22. Weber M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press, 1978. 1469 p.
23. Williamson O. E. The Economic Institutions of Capitalism. New York: Free Press, 1985. 450 p.

IV. Налоговая мораль, доверие и эмпирические исследования

1. Alm J., Torgler B. Culture Differences and Tax Morale in the United States and in Europe // Journal of Economic Psychology. 2006. Vol. 27, no. 2. P. 224–246.
2. Frey B. S., Torgler B. Tax Morale and Conditional Cooperation // Journal of Comparative Economics. 2007. Vol. 35, no. 1. P. 136–159.
3. Luttmer E. F. P., Singhal M. Tax Morale // Journal of Economic Perspectives. 2014. Vol. 28, no. 4. P. 149–168.
4. OECD. Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax? Paris: OECD Publishing, 2019. 68 p.
5. Pommerehne W. W., Weck-Hannemann H. Tax Rates, Tax Administration and Income Tax Evasion in Switzerland // Public Choice. 1996. Vol. 88, no. 1-2. P. 161–170.
6. Torgler B. Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis. Cheltenham: Edward Elgar, 2007. 320 p.
7. Torgler B., Schneider F. The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow Economy // Journal of Economic Psychology. 2009. Vol. 30, no. 2. P. 228–245.
8. Wenzel M. Motivation or Rationalisation? Causal Relations between Ethics, Norms and Tax Compliance // Journal of Economic Psychology. 2005. Vol. 26, no. 4. P. 491–508.
9. World Values Survey. Wave 7 (2017-2022). URL: https://www.worldvaluessurvey.org/
10. ISSP Research Group. International Social Survey Programme: Role of Government V. 2016.

V. Когнитивный капитализм, платформы и AGI

1. Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008. 240 с.
2. Зубофф Ш. Эпоха надзорного капитализма. М.: Издательство Института Гайдара, 2022. 784 с.
3. Bostrom N. Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford: Oxford University Press, 2014. 328 p.

4. Bubeck S. et al. Sparks of Artificial General Intelligence: Early Experiments with GPT-4 // arXiv preprint. 2023. arXiv:2303.12712.
5. Floridi L. The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality. Oxford: Oxford University Press, 2014. 272 p.
6. Haas P. M. Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination // International Organization. 1992. Vol. 46, no. 1. P. 1–35.
7. Nye J. S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: PublicAffairs, 2004. 191 p.
8. Pariser E. The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. New York: Penguin Press, 2011. 304 p.
9. Srnicek N. Platform Capitalism. Cambridge: Polity Press, 2017. 120 p.
10. Zuboff S. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs, 2019. 704 p.

VI. Геополитика, англосаксонский глобализм и национальные стратегии

1. Kagan R. The Jungle Grows Back: America and Our Imperiled World. New York: Knopf, 2018. 192 p.
2. Mead W. R. Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World. New York: Knopf, 2002. 400 p.
3. Pomerantsev P. This Is Not Propaganda: Adventures in the War Against Reality. London: Faber & Faber, 2019. 256 p.
4. World Bank. Worldwide Governance Indicators (WGI). URL: https://info.worldbank.org/governance/wgi/
5. V-Dem Institute. Varieties of Democracy (V-Dem) Dataset. URL: https://www.v-dem.net/

VII. Авторская монография (основной источник рамки)

11. Костиков И. В. Гражданский патриотизм в цифровую эпоху: Философия когнитивного суверенитета как альтернатива национализму и англосаксонскому глобализму. М.: Магистр, 2026 (в печати).